

Диккенс Чарльз

Большие надежды

I

Фамилия отца моего была Пиррип, а имя, данное мне при св. крещении, Филипп. Из этих-то двух имен еще в детстве вывел я нечто среднее — Пип, похожее на то и на другое. Так-то назвал я себя Пипом да и пошел по белому свету. — Пип да Пип, меня иначе и не звали.

Что отца моего действительно звали Пиррипом, в этом я могу сослаться на двух свидетелей: надпись на его надгробном камне и сестру мою, мистрис Джо Гарджери, вышедшую замуж за кузнеца. Так как я не помнил ни отца, ни матери и никогда не видал их изображений (они жили еще в дофотографическую эпоху), то детское воображение мое рисовало их образы, бессмысленно и непосредственно руководствуясь одними только их надгробными надписями. Очертание букв отцовской надгробной навело меня на странную мысль, что отец мой был плотный, приземистый и мрачный человек, с курчавыми черными волосами. Почерк надписи: «Гожь Джорджиана, жена вышереченного» привел меня к детскому заключению, что матушка моя была рябая

и болезненная. Пять маленьких плит, по полутора фута длиною каждая, окружали могилу моих родителей и были посвящены памяти пяти маленьких братьев моих, умерших в раннем возрасте, не испробовав сил своих в жизненной борьбе. Этим маленьким могилкам я обязан убеждением, религиозно мною хранимым, что все они родились лежа на спине, заложив руки в карманы, и в продолжение всей своей жизни никогда их оттуда не вынимали.

Страна наша была болотистая и лежала вдоль реки, в двадцати милях от моря. Первое живое, глубокое впечатление... как бы сказать, пробуждение в жизни действительной, сколько я помню, я ощутил в один мне памятный, сырой и холодный вечер. Тогда я впервые вполне убедился, что это холодное место, заросшее крапивой — кладбище; что здешнего прихода Филипп Пиррип и Тожь Джорджиана, жена вышереченного, умерли и похоронены; что Александр, Варфоломей, Абрам, Тобиас и Роджер, малолетние дети вышереченных, тоже умерли и похоронены; что мрачная, плоская степь за кладбищем, пересекаемая по всем направлениям плотинами и запрудами, с пасущимся на ней скотом — болото; что темная свинцовая полоса, окаймлявшая болото — река; что далекое, узкое логовище, где рождались ветры — море, и что маленькое существо, дрожащее от страха и

холода и начинавшее хныкать — Пип.

— Перестань выть! — раздался страшный голос и в то же время из могил близь церковной паперти приподнялась человеческая фигура. — Замолчи, чертёнок, не то шею сверну!

Страшно было смотреть на этого человека, в грубом сером рубище и с колодкой на ноге. На голове у него, вместо шляпы, была повязана старая тряпка, а на ногах шлёпали изодранные башмаки. Человек этот был насквозь промокший, весь забрызган грязью, обожжен крапивой, изрезан камнями, изодран шиповником; он шел прихрамывая, дрожал от холода, грозно сверкал глазами и сердито ворчал. Подойдя ко мне, он схватил меня за подбородок, щелкая зубами.

— Ай! не убивайте меня, сэр! — упрашивал я, в ужасе: — Ради Бога не убивайте меня, сэр.

— Как тебя зовут? — сказал человек: — живей!

— Пип, сэр.

— Повтори-ка еще, — сказал человек, пристально глядя на меня. — Не жалея глотки!

— Пил, Пип, сэр.

— Говори: где живешь? — сказал человек. — Укажи: в какой стороне?

Я указал на плоский берег реки, где виднелась наша деревня, окруженная ольховой рощицей и подстриженными деревьями, в расстоянии около

мили от церкви.

Он поглядел на меня с минуту, потом схватил меня, повернул вверх ногами и вытряс мои карманы. В них ничего не оказалось, кроме ломтя хлеба. Он так сильно и неожиданно опрокинул меня, что в глазах у меня зарябило, все окружавшие предметы завертелись и шпиль церкви пришелся, как раз, у меня между ногами. Когда церковь очутилась за прежнем месте, я сидел на высоком камне, дрожа от страха, а он жадно уничтожал мой хлеб.

— Ах, ты, щенок! — сказал он, облизываясь: — какие у тебя, брат, жирные щеки.

Я думаю, они действительно были жирны, хотя в то время я был мал не по летам и некрепкого сложения.

— Черт возьми! отчего бы мне их не съесть? — сказал страшный человек, грозно кивая головой: — да, я, кажется, это и сделаю.

Я выразил искреннюю надежду, что он этого не сделает, и еще крепче ухватился за камень, за который он меня посадил, частью для того, чтоб не упасть с него, частью, чтоб удержаться от слез.

— Ну, так слушай! — крикнул он: — где твоя мать?

— Вот, здесь, сэр, — сказал я.

Он быстро взглянул в ту сторону, отбежал немного, приостановился и оглянулся.

— Вот, здесь, сэр, — несмело пояснил я: — «Тожь Джоржиана». Это моя мать.

— А! — сказал он, возвращаясь. — А это твой отец похоронен возле матери?

— Да, сэр, — сказал я: — он тоже был здешнего прихода.

— Гм! — пробормотал он в раздумье. — У кого же ты живешь — может быть, я тебя оставлю в живых, на что еще не совсем решился?

— У сестры, сэр, мистрис Джо Гарджери, жены кузнеца, Джо Гарджери, сэр.

— Кузнеца, гм! — сказал он и взглянул на свою ногу.

Мрачно посмотрев несколько раз то на меня, то на свою ногу, он еще ближе подошел ко мне, схватил меня за обе руки и потряхнул изо всей силы. Глаза его были грозно устремлены на меня, а я беспомощными взорами молил его о пощаде.

— Ну, слушай, — сказал он: — дело идет о том: оставаться тебе в живых или нет? Ты знаешь, что такое напилек?

— Да, сэр.

— Ну, и знаешь, что такое съестное?

— Знаю, сэр.

После каждого вопроса он меня снова встряхивал, чтоб дать мне более почувствовать мое беспомощное положение и угрожавшую мне опасность.

— Достань мне напилочек — и он потряхнул меня. — Достань мне чего-нибудь поесть. — И он потряхнул меня. — Принеси мне то и другое. — И он потряхнул меня. — Или я у тебя вырву сердце и печенку. Он опять потряхнул меня.

Я был в ужасном страхе, голова кружилась; я припал к нему обеими руками и сказал:

— Если вы будете так добры, позвольте мне стоять прямо, сэр: меня не будет тошнить и я лучше вас пойму.

Тут он меня кувырнул с такой силою, что мне показалось, будто церковь перепрыгнула через свой же шпиль, потом приподнял меня за руки в вертикальном положении над камнем, и продолжал:

— Завтра рано поутру ты принесешь мне напилочек и пищу. Все это ты принесешь туда, на старую батарею. Ты сделаешь, как я тебе приказываю и никогда никому об этом словечка не промолвишь; никогда не признаешься, что ты видел такого человека, как я, и тогда я оставлю тебя в живых. Если ты в чем-нибудь меня не слушаешь, хоть на самую малость, твое сердце и печенку у тебя вырежут и съедят. Я тебе еще скажу, что я не один, как ты, может, это думаешь. У меня есть молодчик, перед которым я ангел. Этот молодчик слышит все, что я тебе теперь говорю. У него есть особый секрет, как добираться до мальчишки, до его сердца и печенки: напрасно мальчишка будет

прятаться от этого молодчика. Напрасно мальчишка будет запирает дверь своей комнаты; ложась в теплую постель, напрасно будет кутаться с головой в одеяло: он будет думать, что он в покое и вне опасности — как бы ни так, мой молодчик потихоньку подползет; подкрадется — и тогда беда мальчишке. Я теперь удерживаю этого молодчика, чтоб он тебя не растерзал, и то с трудом. Ну, что же ты скажешь на это?

Я отвечал, что я ему достану напилочек и все, что сумею достать съестного, и все принесу на батарею рано утром на следующий день.

— Ну, скажи: «убей меня Бог!» — сказал человек.

Я побожился, и он снял меня с камня.

— Ну, — продолжал он: — так помни же, за что ты взялся, и не забывай моего молодчика. Отправляйся домой.

— По... покойной ночи, сэр, — сказал я дрожащим голосом.

— Очень покойной, — сказал он, окидывая взглядом холодную и сырую равнину. — Будь я лягушкой или угрем!

И, обхватив руками свое дрожавшее от холода тело, словно опасаясь, чтоб оно не развалилось, он поплелся, прихрамывая, в низкой церковной ограде. Я смотрел ему вслед. Он шел, пробираясь между крапивой и кустарником, которыми заросла ограда;

мне казалось, будто он избегал мертвецов, которые высовывались из могил, стараясь ухватить его за пятку, чтоб затащить к себе.



Когда он добрался до низкой церковной ограды, он перелез через нее, как человек, у которого ноги были как палки, и потом еще раз оглянулся на меня. Увидев, что он смотрит на меня, я пустился бегом домой. Пробежав немного, я

оглянулся: он продолжал идти к реке, поддерживая себя руками и пробираясь с своей больной ногой между большими камнями, набросанными здесь и там по болоту, для удобства переходов, на случай больших дождей или прилива.

Болото показалось мне длинной, черной полосой на горизонте, когда я снова остановился и поглядел ему в след; река являлась другою такою же полосой, только темнее и уже; небо представляло ряд длинных, багровых и черных, перемежавшихся полос. На берегу реки я только мог различить два предмета, поднимавшихся над поверхностью земли: вежу, поставленную рыбаками в виде шеста, с изломанным бочонком наверху, очень некрасивую штуку вблизи, и виселицу с болтавшимися на ней цепями, на которой во время оно был повешен морской разбойник. Человек этот пробирался к виселице, как будто он был тот самый разбойник, восставший из мертвых, чтоб снова повеситься. Эта мысль произвела на меня страшное впечатление; смотря на скот, который поднимал головы и глядел ему вслед, я задавал себе вопрос: «не ужели и скот думает то же?» Я осмотрелся во все стороны, думая, не увижу ли где страшного молодчика, но не было и признаков его. Мне опять стало страшно и я побежал без оглядки домой.

Сестра моя, мистрис Джо Гарджери, была двадцатью годами старше меня; она составила себе огромную известность во всем околотке тем, что вскормила меня «рукою». Мне самому приходилось добраться до смысла этого выражения, и потому, зная, как она любила тузить меня и Джо своею тяжелою рукою, я пришел к тому убеждению, что мы оба с Джо вскормлены рукою.

Сестра моя была некрасива собой, и я полагал, что, должно быть, она и жениться на себе заставила Джо рукою. Джо был молодец и, лицо его окаймляли пышные, белокурые локоны, а неопределенно голубой цвет его глаз, казалось, сливался с снежною белизною белка. Вообще, он был отличного нрава человек, добрый, кроткий, сговорчивой, простой, но, с тем вместе, прекрасной малой, нечто в роде Геркулеса и по физической силе, и по нравственной слабости.

Сестра моя, брюнетка с черными глазами и волосами, имела кожу до того красную, что я часто думал, не моется ли она, вместо мыла, мускатным орехом. Она была высока ростом, очень костлява и почти постоянно носила толстый передник, завязанный сзади; он кончался спереди жестким нагрудником, в котором натканы были иголки и булавки. Она считала высокою добродетелью носить этот передник, а Джо постоянно укоряла им.

Я, однако, не вижу причины, почему ей необходимо было его носить, или, если уж она его носила, то отчего не снимала его по целым дням?

Кузница Джо примыкала к нашему дому, деревянному, как большая часть домов в нашей стороне в те времена. Когда я прибежал домой с кладбища, кузница была заперта, и Джо сидел один одинехонек в кухне. Мы с Джо одинаково страдали от ига моей сестры, и потому жили душа в душу. Не успел я открыть двери, как Джо крикнул мне:

— Мистрис Джо уже раз двенадцать выходила тебя искать, Пип. Она и теперь затем же вышла.

— Неужели?

— Да, Пип, — сказал Джо: — и, что хуже всего, она взяла с собою хлопушку.

При этом страшном известии, я схватился за единственную пуговицу, оставшуюся на моей жилетке, и вперил отчаянный взор на огонь. Хлопушкой мы называли камыш, с тоненьким навощенным кончиком, совершенно-сглаженным от час прикосновения с моим телом.

— Она садилась, — продолжал Джо: — и снова вставала. Наконец, она вышла из себя и схватила хлопушку. Вот что! — Джо медленно начал мешать уголья ломом под нижнею перекладинкою. — Слышь, Пип, она вышла из себя.

— А давно она вышла, Джо? — спросил я.

С Джо я обходился всегда, как с большим

ребенком, равным мне во всех отношениях.

— Ну, — сказал Джо, взглянув на старинные часы: — она вышла из себя, вот, уж минут пять будет Пип. Слышь, она идет. Спрячься за дверь, старый дружище.

Я послушался его совета. Сестра моя, войдя, настежь распахнула дверь и, заметив, что она не отворяется как следует, тотчас же догадалась о причине и, не говоря дурного слова, начала работать хлопущою. Она кончила тем, что бросила меня на Джо, который рад был всегда защитить меня, и потому, спокойно пихнув меня под навес камина, он заслонил меня своею огромною ногою.

— Где ты шатался, обезьяна ты этакая? — кричала мистрис Джо, топая ногами. — Сейчас говори, что ты делал все это время. Вишь, вздумал пугать меня! А то смотри, я тебя вытащу из угла, будь там с полсотни Пипов и полтысячи Гарджери.

— Я только ходил на кладбище, — сказал я, сидя на стуле и продолжая плакать и тереть рукою свое бедное тело.

— На кладбище! — повторила сестра. — Если б не я, давно б ты там был. Кто тебя вскормил от руки — а?

— Вы, — отвечал я.

— А зачем я это сделала — а? — воскликнула сестра.

— Не знаю, — прохныкал я.

— И я не знаю, — продолжала мистрис Джо. — Знаю только, что в другой раз этого не сделаю. Справедливо могу сказать, что передника с себя не снимала с тех пор, как ты родился. Довольно скверно уже быть женою кузнеца (да еще Гарджери), а тут еще будь тебе матерью?

Разнородные мысли толпились в моей голове, пока я смотрел на огонь. Я начинал вспоминать и колодника на болоте, и таинственного молодчика, и обещание обокрасть тех, кто приютил меня; мне показалось, что даже красные угли смотрели на меня с укоризною.

— А! — сказала мистрис Джо, ставя на место орудие пытки. — На кладбище, в самом деле! Конечно, кому, как не вам упоминать о кладбище. (Хотя, замечу в скобках, Джо вовсе не упоминал о нем.) В один прекрасный день свезете меня на кладбище. Вот уж будет парочка без меня!

Мистрис Джо начала готовить чай, а Джо нагнулся ко мне и как будто обсуждал, какую именно парочку мы бы составили при столь несчастном обстоятельстве. После этого он молча расправлял свои кудри и бакенбарды, — следя глазами за всеми движениями моей сестры, что он всегда делал в подобных случаях.

Мистрис Джо имела известную манеру готовить нам хлеб с маслом. Прежде всего она крепко прижимала хлеб к своему переднику, отчего

часто булавки и иголки попадали в хлеб, а потом к нам в рот. Потом она брала масло (не слишком много) и ножом намазывала его на хлеб, словно приготавливая пластырь; живо действовала обеими сторонами ножа и искусно обчищала корку от масла. Наконец, проведя последний раз ножом по пластырю, она отрезывала толстый ломоть хлеба, делила его пополам и давала каждому из нас по куску. Хотя я был очень голоден, но не смел есть своей порции: я чувствовал, что необходимо было запастись чего-нибудь съестного для моего страшного колодника. Я хорошо знал, как аккуратна и экономна в хозяйстве мистрис Джо, и потому могло случиться, что я ничего не нашел бы украсть в кладовой. На этом основании я решился не есть своего хлеба с маслом, а спрятать его, сунув в штаны.



Но решиться на такое дело было не очень легко. Мне казалось, что не труднее было бы решиться спрыгнуть с высокой башни, или кинуться в море. Джо, не знаящий моей тайны, увеличивал еще тягость моего положения. Как уже сказано, мы находились с Джо в самых дружеских, почти братских отношениях; так у нас был обычай по вечерам есть вместе наши ломти хлеба с маслом и, время от времени откусив кусок, сравнивать

оставшиеся ломти, поощряя таким образом друг друга в дальнейшем состязании. В этот памятный вечер Джо несколько раз приглашал меня начать наше обычное состязание, показывая мне свой быстро уничтожавшийся ломоть. Но я все сидел как вкопанный; на одном колене у меня стояла кружка с молоком, а на другом покоился мой неначатый ломоть. Наконец, я пришел к тому убеждению, что если делать дело, то лучше придать ему самый правдоподобный вид. Я воспользовался минутой, когда Джо не смотрел на меня, и проворно опустил ломоть хлеба с маслом в штаны. Джо, по-видимому, беспокоился обо мне, думая, что у меня пропал аппетит; он кусал свой ломоть задумчиво и, казалось, без всякого удовольствия. Необыкновенно долго вертел он каждый кусок во рту, долго раздумывал и наконец глотал его, как пилюлю. Он готовился откусить еще кусочек и, наклонив голову на сторону, вымерял глазом сколько захватить зубами, когда вдруг заметил, что мой ломоть исчез с моего колена.

Джо так изумился и остолбенел, заметив это, что выражение его лица не могло не быть замеченным моею сестрою.

— Ну, что там еще? — резко спросила она, ставя чашку на стол.

— Послушай, — бормотал Джо, качая головою, с выражением серьезного упрека: — Пип,

старый дружище! ты себе этак повредишь. Он там где-нибудь застрянет, смотри! Ведь, ты его не жевал, Пип!

— Ну, что там еще у вас? — повторила моя сестра, еще резче прежнего.

— Пип, попробуй-ка откашлянуться хорошенько. Я бы тебе это, право, советовал, — продолжал Джо с ужасом. — Приличия, конечно, дело важное, но, ведь, здоровье-то важнее.

Сестра моя к тому времени пришла в совершенное неистовство; она бросилась на Джо, схватила его за бакенбарды и принялась колотить головою об стену, между тем, как я сидел в уголку, сознавая, что я всему виною.

— Теперь, надеюсь, ты объяснишь мне в чем дело, — сказала она, запыхаясь: — чего глазеешь-то, свинья набитая.

Джо бросил на нее беспомощный взгляд, откусил хлеба и взглянул на меня.

— Ты сам знаешь, Пип, — сказал он, дружественным тоном, с последним куском за щекою и разговаривая, будто мы были наедине. — Мы, ведь, всегда были примерные друзья, и я последний сделал бы тебе какую неприятность. Но, сам посуди... — и он подвинулся ко мне с своим стулом, взглянул на пол, потом опять на меня: — сам посуди, такой непомерный глоток...

— Опять сожрал, не прожевав порядком —

а? — отозвалась моя сестра.

— Я и сам глотал большие куски, когда был твоих лет, — продолжал Джо, все еще с куском за щекою и не обращая внимания на мистрис Джо: — и даже славился этим, но отродясь не видывал я такого глотка. Счастье еще, что ты жив.

Сестра моя нырнула по направлению ко мне и, поймав меня за волосы, произнесла страшные для меня слова:

— Ну, иди, иди, лекарства дам.

В то время какой-то скотина-лекарь снова пустил в ход дегтярную воду, и мистрис Гарджери всегда держала порядочный запас ее в шкафу; она, кажется, верила, что ее целебные свойства вполне соответствовали противному вкусу. Мне по малости задавали такой прием этого прекрасного подкрепительного средства, что от меня несло дегтем, как от вновь осмолёного забора. В настоящем, чрезвычайном случае необходимо было задать мне, по крайней мере, пинту микстуры, и мистрис Джо влила ее мне в горло, держа мою голову подмышкою. Джо отделался полупинтою. Судя по тому, что я чувствовал, вероятно, и его тошнило.

Страшно, когда на совести взрослого или ребенка лежит тяжкое бремя; но когда к этому бременю присоединяется еще другое, в штанах, оно становится невыносимо, чему я свидетель.

Сознание, что я намерен обворовать мистрис Джо — о самом Джо я не заботился, мне и в голову не приходило считать что-нибудь в доме его собственностью — сознание, соединенное с необходимостью постоянно держать руку в штанах, чтоб придерживать запятанный кусок хлеба с маслом, приводило меня почти в отчаяние. Всякий раз, что ветер с болота заставлял ярче разгораться пламя, мне казалось, что я слышал под окнами голос человека с кандалами на ногах, который клятвою обязал меня хранить тайну и объявлял мне, что не намерен умирать с голоду до завтра, и потому я должен накормить его. Иной раз мною овладевала мысль: «а что, если тот молодчик, которого с таким трудом удерживали от моих внутренностей, следуя природным побуждениям, или ошибившись во времени, вдруг вздумает немедленно распорядиться моим сердцем и печенкою!» Если у кого волосы стояли когда дыбом, так уж верно у меня. Впрочем, я полагаю, что этого ни с кем не случилось.

Был вечер под Рождество; мне пришлось мешать пудинг для завтрашнего дня, ровнёхонько от семи до восьми, по стенным часам. Я было принялся за работу с грузом в штанах — что напомнило мне тотчас об иного рода грузе у *него* на ногах — но, к несчастью, увидел, что ноша моя упрямо сползала к щиколке, при каждом движении.

Наконец мне удалось улизнуть в свою конурку на чердаке и облегчить свое тело от излишка бремени, а душу от тяжкого беспокойства.

— Слышь! — воскликнул я, перестав мешать и греясь перед камином, пока меня еще не погнали спать: — ведь это пушка, Джо?

— Ого! — сказал Джо: — должно быть, еще одним колодником меньше.

— Что это значит, Джо?

Мистрис Джо, которая бралась за объяснение всего на свете, сказала отрывисто: «убежал, убежал!» Она отпустила это определение словно порцию дегтярной воды.

Когда мистрис Джо снова принялась за свое шитье, я осмелился, обращаясь к Джо, выделать своим ртом слова: «что такое колодник»? Джо выделал своим ртом какой-то замысловатый ответ, из которого я разобрал только последнее слово: «Пип».

— Вчера удрал один колодник, — громко сказал Джо: — после вечернего выстрела, а теперь они, верно, стреляют по-другому.

— Кто стреляет? — сказал я.

— Что за несносный мальчишка, — вступилась моя сестра, взглянув на меня исподлобья, не поднимая головы с работы: — с своими бесконечными вопросами! Много будешь знать — скоро поседеешь. Меньше спрашивай,

меньше врать будешь.

Эта выходка была не совсем-то учтива, даже в отношении к ней самой, допуская предположение, что она сама не малая охотница до вранья, ибо бралась все объяснять.

В это время Джо еще более подстрекнул мое любопытство, силясь всеми средствами выделать своим ртом что-то в роде: «злой тон». Поняв, что это относится к изречению мистрис Джо, я кивнул на нее головою и шепнул: «у нее?». Но Джо не хотел ничего слышать и продолжал разевать рот, стараясь выделывать какое-то чудное, непонятное для меня слово.

— Мистрис Джо, — сказал я, прибегая к крайнему средству: — мне бы очень хотелось знать, с вашего позволения, откуда стреляют?

— Бог с ним, с этим мальчишкой! — воскликнула сестра с выражением, как будто желала, мне совершенно противного. — С понтона.

— Ого! — воскликнул я, глядя на Джо: — с понтона.

Джо укоризненно закашлял, будто желая тем сказать: «не то же ли я говорил?»

— А позвольте, что такое понтон? — спросил я.

— Ну, я наперед знала, с ним всегда так, с этим мальчишкой! — воскликнула моя сестра, тыкая на меня иголкой и кивая головою. — Ответь

ему на один вопрос, он задаст вам еще двадцать. — Понтоны — это тюремные корабли, что там, за болотами.

— Я все же в толк не возьму, кого туда сажают и зачем? — сказал я с тихим отчаянием, не обращаясь ни к кому в особенности.

Я, как видно, пересолил: мистрис Джо тотчас вскочила.

— Я тебе скажу одно, — вскричала она: — я тебя не для того вскормила от руки, чтоб ты надоедал людям до смерти. Тогда бы этот подвиг был мне не к чести, а напротив. На понтоны сажают людей за то, что они убивают, крадут, мошенничают и делают всякого рода зло; а начинают все они с расспросов. Ну, теперь убирайся спать.

Мне никогда не позволяли идти спать со свечою. У меня голова шла кругом, пока я всходил по лестнице, ибо наперсток мистрис Джо сопровождал последние слова, выбивая такт на моей голове. Мысль, что мне написано на роду, рано или поздно, попасть на понтон, казалась мне несомненною. Я был на прямой дороге туда: весь вечер я расспрашивал мистрис Джо, а теперь готовился обокрасть ее.

С тех пор, я часто размышлял о том, как сильно действует страх на детей, что б его ни породило, хотя бы самая бессмысленная причина. Я

смерть как боялся молодчика, что добирался до моего сердца и печенки; я смерть как боялся своего собеседника с закованною ногою; я смерть как боялся самого себя после того, как дал роковое обещание; я не мог надеяться на помощь со стороны сильной сестры, которая умела лишь отталкивать меня на каждом шагу. Страшно подумать, на что б я не решился под влиянием подобного страха.

Если я и засыпал в эту ночь, то лишь для того, чтоб видеть во сне, как весенним течением меня несло по реке к понтону; призрак морского разбойника кричал мне в трубу, пока я проносился мимо виселицы, чтоб я лучше остановился и дал себя разом повесить, чем откладывая исполнение неминуемой судьбы своей. Я боялся крепко заснуть, если б и мог, потому что с раннею зарею я должен был обокрасть кладовую. Ночью я сделать этого не мог: в те времена нельзя было добыть огня спичками, и мне пришлось бы высекать огонь из огнива и наделать шума, не менее самого разбойника, гремевшего цепями.

Как скоро черная, бархатная завеска за моим окном получила серый оттенок, я сошел вниз. Каждая доска по дороге и каждая скважина в доске кричала вслед за мною: «Стой, вор! Вставай, мистрис Джо!» В кладовой, очень богатой всякого рода припасами, благодаря праздникам, меня

сильно перепугал заяц, повешенный за лапы: мне почудилось, что он мигнул мне при входе моем в кладовую. Но не время было увериться в этом; не время было сделать строгий выбор; не было времени ни на что, нельзя было терять ни минуты. Я украл хлеба, кусок сыру, с полгоршка начинки и завязал все это в свой носовой платок, вместе с вчерашним ломтем хлеба с маслом; потом я налил водкой из каменной бутылки в склянку, долив бутылку из первой попавшейся кружки, стоявшей на шкафу. Кроме того, я стащил еще какую-то почти обглоданную кость и плотный, круглый пирог, со свиной. Я было собрался уйти без пирога, когда заметил в углу, на верхней полке что-то спрятанное в каменной чашке; я влез на стул и увидел пирог; в надежде, что пропажа его не скоро обнаружится, я и его захватил с собою.

Из кухни дверь вела в кузницу; я снял запор, отпер ее, вошел в кузницу и выбрал напилек между инструментами Джо; потом я запер дверь по-прежнему, отворил наружную дверь и пустился бежать к болотам.

III

Утро было сырое, туманное; окно мое вспотело и капли воды струились по нем, будто леший проплакал там всю ночь и оросил его

слезами. Сырость виднелась везде на голых плетнях, и на скудной траве, раскинувшись, как паутина, от одного сучка к другому, от одной былинки к другой. Все было мокро, и заборы и ворота, а туман стоял такой густой, что я издали даже не заметил указательного перста на столбе, направлявшего путешественников в наше село (хотя, надо заметить мимоходом, они никогда не следовали этому указанию и не заходили к нам). Когда я подошел ближе и взглянул на него, вода с него стекала на землю капля за каплею, и моей нечистой совести он показался каким-то привидением, обрекавшим меня заключению на понтоне. Туман сделался еще гуще, когда я пошел по самому болоту; не я уже бежал на предметы, а предметы, казалось бежали на меня. Это было очень неприятно для нечистой совести. Шлюзы, рвы, насыпи как бы бросались на меня из тумана и кричали: «Стой! мальчишка украл чужой пирог, держи его!» Так же неожиданно я столкнулся и с целым стадом, вылупившим на меня глаза и испускавшим пар из ноздрей; и стадо кричало: «Эй, воришка!» Один черный бык, в белом галстуке, напомиравший мне пастора, так упрямо стал смотреть на меня и так неодобрительно мотал головою, что я не вытерпел и завопил:

— Я не мог этого не сделать, сэр. Я, ведь, взял не для себя.

В ответ на мои слова, он опустил голову, выпустил из ноздрей целое облако пару и скрылся, лягая задними ногами и виляя хвостом. Все это время я шел по направлению к реке, но как ни скоро я шагал, я никак не мог согреть ног; холод, казалось, так же крепко их охватывал, как колодка ноги моего вчерашнего незнакомца. Я очень хорошо знал дорогу за батарею; мы с Джо одно воскресенье ходили туда и Джо тогда сказал мне, сидя на старом орудии, что когда я сделаюсь его учеником, мы часто будем удирать туда. Несмотря на то, благодаря непроницаемой мгле тумана, я взял гораздо правее, чем следовало, и мне потому пришлось идти назад по берегу реки, по камням, разбросанным среди непроходимой грязи, и вехов, означавших пределы разлития реки во время прилива. Я почти бежал. Перескочив через канал, к, я знал, находился близ батареи, и вскарабкавшись за противоположную сторону, я неожиданно увидел моего колодника, сидевшего ко мне спиной; руки его были сложены на груди, а голова моталась то в одну, то в другую сторону; ясно было, что он спал. Я думал, он более обрадуется, если я неожиданно явлюсь к нему с завтраком, и потому, подойдя сзади, я тихонько тронул его за плечо. Он в то же мгновение вскочил, но то был не мой колодник. Он, однако ж, очень походил за моего незнакомца: тоже серое платье, та же колодка на ногах, он так же

хромал и дрожал от холода; одна только была разница между ними: лицо его было другое и на голове плоская, с большими полями, полярковая шляпа. Все это заметил я в одно мгновение, ибо он ругнул меня, хотел побить, но поскользнулся, чуть не упал, и пустился бежать, спотыкаясь на каждом шагу. Вскоре туман скрыл его от моих глаз.

«Верно это молодчик!» думал я, и сердце у меня забилося. Я уверен, что почувствовал бы боль и в печенке, если б только знал, где она находится. Вскоре я добрался до батареи и увидел моего настоящего колодника: он ковылял взад и вперед по батарее, обхватив свое тело руками, точно он всю ночь провел в этом положении, поджидая меня. Он страшно дрожал от холода. Я ожидал, что вот он упадет к моим ногам и окоченеет на веки. Глава его поражали выражением какого-то отчаянного голода; передавая ее у напилка, я подумал, что он верно принялся бы его грызть, если б не видел моего узелка. Он не повернул меня теперь ногами вверх, как в первый раз, а дал на свободе равнять узелок и опорожнить карманы.

— Что в бутылке? — спросил мой приятель.

— Водка, — отвечал я.

Он уже набивал себе глотку начинкою; процесс этот более походил за поспешное прятанье, чем на еду. Он на минуту остановился, однако, чтоб хлебнуть из бутылки. Он так сильно дрожал всем

телом, что я боялся, чтоб он не откусил горлышка у бутылки.

— Верно у вас лихорадка, — сказал я.

— Я сам то же думаю, мальчик, — отвечал он.

— Тут нехорошо, — продолжал я. — Вы лежали на болоте, а ведь, от этого легко получить лихорадку и ломоту.

— Я прежде покончу этот завтрак, чем смерть покончит со мною, — сказал он. — Я все-таки его кончу, если б мне даже следовало тотчас затем идти на галеры. Я до конца завтрака поборю свою дрожь, не бойся.

Во все это время, он с невероятною скоростью глотал и начинку, и куски мяса, и хлеб, и сыр, и пирог со свиной. Он глядел на меня во время этой работы недоверчиво; озираясь боязливо по сторонам и, вперяя взгляд в туман, он часто останавливался и прислушивался. Всякий звук, плеск реки, мычание стада — все заставляло его вздрагивать. Наконец он воскликнул:

— Ты меня не надуваешь, чертёнок? Ты никого не привел с собою?

— Нет, никого, сэр.

— И никому не велел за собою идти?

— Никому.

— Ну, хорошо, — возразил он: — я тебе верю. И то сказать, хорош бы ты был щенок, если б в твои годы помогал бы ловить такую несчастную тварь,

как я.

При этом что-то зазвенело в его горле, точно там находились часы с боем, и он потер глаза своим толстым рукавом.

Сожалая о его судьбе, я со вниманием наблюдал, как он, съев все, что я принес, накинудся наконец на пирог со свининой.

— Очень рад, что пирог вам нравится, — заметил я, собравшись с силами.

— Что ты сказал?

— Я сказал только, что очень рад, что вам понравятся пирог.

— Спасибо, мальчик. Правда, он мне очень нравится.

Часто я наблюдал, как ела наша большая собака, и теперь заметил, что мой каторжник ел точь-в-точь, как она. Он ел урывками, хватая большими кусками, и глотал чересчур скоро и поспешно. Во время еды он косился во все стороны, как бы боясь, что у него отнимут его пирог. Вообще, он был слишком расстроен, чтоб вполне наслаждаться обедом или позволить кому-нибудь разделить его, не оскалив на него зубы. Всеми этими чертами мой незнакомец очень походил на нашу собаку.

— Я боюсь, вы ничего ему не оставите, — сказал я робко, после долгого молчания, в продолжение которого я размышлял: прилично ли

мне сделать это замечание. — Более я ничего не могу достать. (Уверенность в последнем обстоятельстве и побудила меня говорить).

— Оставить для него? Да кто же это он? — воскликнул мой приятель, на минуту переставая грызть корку пирога.

— Молодчик, о котором вы говорили, который спрятан у вас.

— А! — отвечал он со смехом. — Он, да, да! он не нуждается в пище.

— А мне показалось, что ему очень хотелось есть.

Мой приятель остановился и взглянул на меня подозрительно и с величайшим удивлением.

— Ты его видел? Когда?

— Только что.

— Где?

— Вон там, — отвечал я, показывая пальцем: — я нашел его спящим и подумал, что это вы.

Он схватил меня за шиворот и так пристально смотрел мне в глаза, что я начал бояться, что ему пришла опять в голову мысль свернуть мне горло.

— Он, знаете, одет как вы, только на голове шляпа, — объяснил я, дрожа всем телом: — и... и... — я старался выразить это как можно деликатнее: — и он также нуждается в напилке. Разве вы не слышали пальбу прошлую ночь?

— Там действительно палили, — сказал он

сам себе.

— Я удивляюсь, — продолжал я, — как вы не слышали, казалось, кому бы лучше это знать, как не вам. Мы слышали пальбу дома, с запертыми дверьми, а мы живем далеко отсюда.

— Ну, — сказал он: — когда человек один на болоте, с пустой головой, с пустым желудком, умирает с голода и холода, то он, право, всю ночь только и слышит, что пальбу пушек и клики своих преследователей! Он слышит... ему грезятся солдаты в красных мундирах с факелами, подступающие со всех сторон. Ему слышится, как его окликают, слышится стук ружей и команда: «стройся! на караул! бери его!» А в сущности все это призрак. Я, в прошлую ночь, не одну видел команду, окружавшую меня, а сотни, черт их побери! А пальба. Уже светало, а мне все казалось, что туман дрожал от пушечных выстрелов... Но этот человек, — воскликнул он, обращаясь ко мне — все это время он, казалось, говорил сам с собою, забыв о моем присутствии: — заметил ты в нем что особенного?

— Лицо у него все в ранах, — отвечал я, припоминая то, что едва-едва успел заметить в незнакомом молодчике.

— Здесь? — воскликнул мой приятель, изо всей силы ударив себя по левой щеке.

— Да.

— Где он? — и при этих словах он засунул остававшиеся крохи пирога себе за пазуху: — покажи, куда он пошел. Я его выищу не хуже гончей, и доканаю. Только вот проклятая колодка! Да и нога вся в ранах! Давай скорей напилоч, мальчик!

Я показал, по какому направлению скрылся в тумане незнакомец. Мой приятель только поспешно взглянул в ту сторону, тотчас же кинулся на мокрую траву и стал, как сумасшедший, отчаянно пилить цепь на ноге. Он не обращал внимания ни на меня, ни на свою бедную, окровавленную ногу; несмотря на то, что на ней виднелась страшная рана, он перевертывал ее так грубо, как будто она была столь же бесчувственна, как напилоч. Я начинал опять бояться его, видя, как он беснуется, к тому же, я боялся опоздать домой. Я сказал ему, что мне нужно идти домой, но он не обратил на меня внимания, и я почел за лучшее удалиться. Последний раз, когда я обернулся посмотреть на моего приятеля, он сидел на траве с поникшей головой, и без устали пилил колодку, проклиная по временам ее и свою ногу. Последний звук, долетевший до меня с батареи, был все тот же тревожный визг напилка.

IV

Я вполне был уверен, что в кухне найду полицейского, пришедшего за мною; но не только там не оказалось никакого полицейского, но даже не открыли еще моего воровства. Мистрис Джо суетилась, убирая все в доме к праздничному банкету, а Джо сидел на ступеньке у кухонной двери; его туда выпроводили, чтоб он не попал в сорную корзину, что всегда с ним случалось, когда сестра моя принималась чистить наши полы.

— А где ты чертёнок шатался? — сказала мне сестра, вместо рождественского приветствия, когда я, с своей нечистой совестью, предстал пред нею.

Я отвечал: «что ходил слушать, как Христа славят».

— А, хорошо! — сказала мистрис Джо. — Ты бы, пожалуй, мог делать что и похуже.

Я вполне был с этим согласен.

— Если б я не была женою кузнеца и, что то же самое, работницею, никогда не снимающею с себя передника, то и я бы пошла послушать, как Христа славят. Смерть люблю, верно потому никогда и не удастся послушать.

Джо, между тем, увидев, что сорная корзинка удалилась, вошел в кухню. Когда, по временам, мистрис Джо взглядывала на него, он проводил по носу рукою самым примирительным образом; когда же она отвертывалась, он таинственно скрещивал указательные пальцы: это был условный знак

между нами, что мистрис Джо не в духе. Подобное состояние было столь ей свойственно, что мы по целым неделям напоминали собою, то есть своими скрещенными пальцами, статуи крестоносцев, с скрещенными ногами. У нас готовился важный банкет: маринованный окорок, блюдо зелени и пара жареных кур. Вчера уже спекли приличный *минсь-пай*¹ (поэтому и начинки до сих пор не хватились), а пудинг уже исправно варился. Все эти многосторонние заботы моей сестры были причиною того, что мы остались почти без завтрака. «Ибо я вовсе не намерена (говорила мистрис Джо) вам позволить теперь нажраться, а потом прибираться за вами: у меня и то слишком много дела».

Вследствие этого нам подали наши ломти хлеба так, как будто мы были целый полк на походе, а не два человека, и то у себя дома. Запивали мы молоком, пополам с водою, из кружки, стоявшей на кухонном столе. Между тем, мистрис Джо повесила чистые, белые занавески, и на огромном камине заменила старую оборку новою, разноцветною. Потом она сняла все чехлы с мебели в гостиной, через коридор. Это делалось только раз в год, а в остальное время все в этой

¹ Пироги, которые едят в Англии на Рождество

комнате было покрыто прозрачной мглой серебристой бумаги, покрывавшей почти все предметы в комнате, даже до фаянсовых пуделей на камине, с черными носами с корзинками цветов в зубах. Мисс Джо была очень опрятная хозяйка, но она имела какое-то искусство делать свою опрятность гораздо неприятнее самой грязи. Опрятность в этом случае можно сравнить с набожностью некоторых людей, одаренных искусством делать свою религию столь же неприятною.

Сестра моя в этот день, по причине огромных занятий, должна была присутствовать в церкви только в лице своих представителей, то есть мы с Джо отправились вместо нее. Джо в своем обыкновенном рабочем платье походил на настоящего плечистого кузнеца; в праздничном же одеянии, он более всего походил на разряженное огородное пугало. Все было ему не в пору и, казалось, сшито для другого; все висело на нем неуклюжими складками. Теперь, когда он явился из своей комнаты, в полном праздничном наряде, его можно было принять за олицетворение злосчастливого мученика. Что же касается меня, то, верно, сестра считала меня юным преступником, которого полицейский акушер в день моего рождения передал ей, для поступления со мной по всей строгости закона. Со мною всегда обходились

так, как будто я настоял на том, чтоб явиться на свет, вопреки всем законам разума, религии, нравственности, и наперекор всем друзьям дома. Даже, когда мне заказывалось новое платье, то портному приказывалось делать его в роде исправительной рубашки, чтоб отнять у меня всякую возможность свободно действовать руками и ногами.

На основании всего этого, наше шествие с Джо в церковь было, верно, очень трогательным зрелищем для чувствительных сердец. Однако, мои внешние страдания были ничто в сравнении с внутренними. Страх, овладевавший мною каждый раз, когда мистрис Джо выходила из комнаты и приближалась к кладовой, мог только сравниться с угрызениями моей совести. Под тяжестью преступной тайны, я теперь размышлял: «не будет ли церковь в состоянии укрыть меня от мщения ужасного молодчика, если б я покаялся ей в своей тайне». Мне вошла в голову мысль встать, когда начнут окликать и пастор скажет: «Объявите теперь, что знаете», и попросить пастора на пару слов в ризницу. Я, пожалуй, в самом деле удивил бы подобной выходкой наших скромных прихожан; но к несчастью, нельзя было прибегнуть к столь решительной мере, ибо было Рождество и никого не окликали.

У нас должны были обедать мистер Уопсель,

дьячок нашей церкви, мистер Гибль, колесный мастер, с женою, и дядя Пёмбельчук (он был собственно дядею Джо, но мистрис Джо совершенно присвоила его себе), довольно-зажиточный торговец зерном в ближнем городе, ездивший в своей собственной одноколке.

Обедали мы в половине второго. Когда мы с Джо воротились домой, стол уже был накрыт, мистрис Джо одета и кушанье почти готово. Парадная дверь была отперта, чего в обыкновенное время не случалось; вообще, все было чрезвычайно парадно. О воровстве не было и слуху. Время шло, но мне от этого легче не было. Наконец собрались и гости. Мистер Уопсель имел огромный римский нос и большой, высокий, гладкий лоб; он особенно гордился своим густым басом, и действительно, его знакомые знали, что дай только ему случай, он зачитает до смерти и самого пастора. Он сам сознавался, что будь только духовное поприще открыто для всех, то он, конечно бы, отличился на нем; но так как духовное поприще не было для всех открыто, то он был, как сказано, только дьячком в нашей церкви. Мистер Уопсель за то провозглашал «аминь» страшным голосом и, называя псалом, всегда произносил весь первый стих и обводил взглядом всех прихожан, как бы говоря: «вы слышали моего друга, что надо мною, а теперь скажите, какое ваше мнение о моем голосе?»

Я отворял дверь гостям, показывая вид, что она у нас всегда открыта. Сперва я впустил мистера Уопсея, потом мистера и мистрис Гибл и наконец дядю Пёмбельчука.

NB. Мне, под страхом наказания, запрещено было называть его дядей.

Дядя Пёмбельчук был человек дородный, страдал одышкой, имел огромный рот, как у рыбы, и волосы песочного цвета, стоявшие торчмя; вообще, он, казалось, только что подавился и не успел еще придти в себя.

— Мистрис Джо, — сказал он, входя: — я вам принес, сударыня, бутылочку хересу и принес бутылочку портвейна, сударыня.

Каждое Рождество он являлся подобным образом, с теми же словами и теми же бутылками. Каждое Рождество мистрис Джо отвечала.

— О, дядя Пём-бель-чук, как это мило! — И каждое Рождество он отвечал: — «Вы вполне заслуживаете это своими прекрасными качествами. Как вы поживаете? Ты как, медный грош? (под этими словами он разумел меня). В подобные торжественные случаи мы всегда обедали в кухне, а десерт, то есть орехи, апельсины и яблоки доедали в гостиной. Эта перемена одной комнаты на другую очень походила на перемену будничного платья Джо на праздничное. Сестра моя была что-то особенно весела; впрочем, она вообще была весела

и любезна в обществе мистрис Гибл. Мистрис Гибл, сколько я помню, была молоденькая фигурка, с острыми чертами и в лазуревом платье; она держала себя как-то очень скромно и по-детски; причиной тому, говорят, было ее очень раннее замужество, хотя с тех пор и прошло не малое число лет. Мистер Гибл был плечистый, полный мужчина; от него несло всегда запахом свежих опилок и, шагая, он так широко расставлял ноги, что я, ребенком, всегда видел окрестности на несколько миль в промежутке между его ногами.

В подобном обществе мне было бы неловко, даже и в нормальном моем положении, даже если б я не обокрал кладовой. Мне было неприятно не то, что меня посадили на самый кончик стола, где угол его постоянно давил меня в грудь, а локоть Пёмбельчука грозил ежеминутно выколоть мне глаз; меня терзало не то, что мне не позволяли говорить — я этого и сам-то не желал — и не то, что угощали меня голыми куриными костями и самыми сомнительными кусочками ветчины, которыми свинья, при ее жизни, вероятно, менее всего гордилась — нет, я бы на все это и не обратил внимания, если б только меня оставили в покое. Но этого-то я и не мог добиться. Они не упускали ни одного случая заговорить обо мне и колоть меня своими замечаниями. Я почти походил на несчастного быка на испанской арене — так метко

они меня поражали своими нравственными стрекалами. Мое мученье началось с самого начала обеда. Мистер Уопсель прочел молитву с театральной торжественностью, напоминавшею и привидение в Гамлете, и Ричарда III. Он кончил словами, что все мы должны быть бесконечно благодарны. При этих словах сестра моя посмотрела на меня пристально и сказала с упреком: «Слышишь? будь благодарен!» «Особливо (подхватил Пёмбельчук) будь благодарен, мальчик, тем, кто вскормил тебя от руки». Мистрис Гибл покачала головой и, смотря на меня с каким-то печальным предчувствием, что из меня не будет пути, спросила: «Отчего это молодёжь всегда неблагодарна?» Разгадать нравственную загадку, казалось, было бы не по силам всей нашей компании. Наконец мистер Гибл разрешил ее, сказав коротко: «Молодёжь безнравственна по природе». Тогда все пробормотали: «правда» и начали смотреть на меня каким-то очень неприятным и обидным образом.

Положение и влияние Джо в доме еще более уменьшалось, когда у нас бывали гости; но он всегда, когда мог, приходил ко мне на помощь и утешал меня так или иначе. Теперь он подлил мне соуса полную тарелку.

Несколько спустя, мистер Уопсель принялся строго критиковать утреннюю проповедь и

сообщил им, какую проповедь он бы сказал, будь только духовное поприще открыто для всех. Приведя несколько текстов из проповеди, произнесенной за обеднею, он прибавил, «что вообще не оправдывает выбора предмета для проповеди, тем более теперь, добавил он, когда есть столько животрепещущих вопросов на очереди».

— Правда, правда, — сказал дядя Пёмбельчук. — Вы метко выразились, сэр. Именно много предметов для проповеди теперь на очереди для тех, кто умеет посыпать им на хвост соли — вот что необходимо. Человеку не придется далеко бегать за своим предметом, была бы только у него наготове щепотка соли. — Потом Пёмбельчук, немного подумав, прибавил: — посмотрите, хоть, вот на окорок — вот вам и предмет; хотите предмет для проповеди — вот вам окорок.

— Правда, сэр. Славную мораль можно вывести для молодёжи, выбрав такой предмет для своей проповеди, — отвечал мистер Уопсель.

Я понял, что он намекал на меня.

— А ты слушай-ка, что говорят, — заметила сестра, обращаясь ко мне.

Джо подлил мне на тарелку соуса.

— Свинья, — продолжал Уопсель своим густым басом, указывая вилкою на мое раскрасневшееся лицо, точно он называл меня по имени: — свинья была товарищем блудному сыну.

Прожорливость свиней представляется нам, как назидательный пример для молодёжи (я думал, что это хорошо относилось и к тому, кто так распространялся о том, как сочен и жирен окорок). Что отвратительно в свинье — еще отвратительнее встретить в мальчике...

— Или девочке, — прибавил мистер Гибль.

— Ну, конечно, и в девочке, — сказал мистер Уопсель, несколько нетерпеливо: — да таковой здесь не находится.

— Кроме того, — начал Пёмбельчук, обращаясь ко мне: — подумай за сколько вещей ты должен быть благодарен; если б ты родился поросёнком...

— Ну уж, он был такой поросёнок, что и не надо хуже! — воскликнула моя сестра.

Джо прибавил мне еще соуса.

— Может быть; — сказал Пёмбельчук: — но я говорю о четвероногом поросёнке. Если б ты родился таковым, был ли бы ты здесь в эту минуту — а?.. Никогда.

— Иначе, как в таком виде... — заметил мистер Уопсель, кивая головой на блюдо.

— Но я не это хотел сказать, сэр, — возразил Пёмбельчук, сильно не любивший, чтоб его перебивали. — Я хочу сказать, что он не наслаждался бы теперь обществом людей старше и умнее его, учась уму-разуму из их разговоров, и не

был бы окружен, можно сказать, роскошью. Мог ли бы он этим всем наслаждаться? Нет, тысяча раз нет. А какова бы была твоя судьба? — вдруг воскликнул он, обращаясь ко мне: — тебя бы продали, по рыночной цене, за несколько шиллингов, и мясник Дунстабль подошел бы к тебе, покуда ты валялся на соломе, схватил бы тебя левою рукой, а правую достал бы ножик из кармана, и пролил бы он твою кровь, и умертвил тебя. Тогда бы тебя не стали вскармливать от руки. Нет, шутишь!

Джо предложил мне еще соусу, но я боялся взять.

— Он вам, ведь, стоил страх сколько забот, сударыня? — сказал мистер Гибл, смотря с сожалением на мою сестру.

— Забот? — повторила сестра: — забот?...

Тут она представила длинный перечень всех болезней и бессонниц, в которых я был виновен, всех высоких предметов, с которых я падал, и низеньких, о которые я стучался. Она припомнила все мои ушибы и увечья и, наконец, заметила, сколько раз желала меня видеть в могиле, но я всегда упрямо сопротивлялся ей желанию. Я думаю, римляне порядком досаждали друг другу своими знаменитыми носами. Быть может, в этом кроется причина их беспокойного, буйного характера; как бы то ни было, но римский нос мистера Уопсея так надоел мне во время рассказа

моей сестры, что я охотно впился бы в него, наслаждаясь воплями и криками мистера Уопсея. Но все, что я терпел до сих пор, было ничто в сравнении с страшным чувством, овладевшим мною, когда, по окончании рассказа сестры, все обратили свои взоры на меня с выражением отвращения.

— Однако, — сказал мистер Пёмбельчук, опять возвращаясь к прежней теме: — окорок вареный также богатый предмет — не правда ли?

— Не хотите ли водочки, дядюшка? — предложила моя сестра.

Боже мой, пришлось же к тому! Пёмбельчук найдет, что водка слаба, скажет об этом сестре и я пропал! Я крепко прижался к ножке стола и обвинил ее руками. Мистрис Джо пошла за каменной бутылкой, и пришед назад, налила водки одному Пёмбельчуку. А он, окаянный, еще стал играть стаканом, прежде чем выпить, он брал его со стола, смотрел на свет и снова ставил на стол, как бы нарочно, чтоб продлить мои муки. В это время мистрис Джо с мужем поспешно сметали крошки со стола, для достойного приема пудинга и пирога. Я пристально следил за Пёмбельчуком. Я увидел, как эта низкая тварь весело взяла рюмку, закинула голову и залпом выпила. Почти в ту же минуту все общество обомлело от удивления: Пёмбельчук вскочил из-за стола, заметался по комнате и,

отчаянно кашляя и задыхаясь, выбежал вон. Сквозь окно было видно, как он харкал и плевал на дворе, строя страшные гримасы, словно помешанный. Я крепко прильнул в ножке стола. Мистрис Джо и Джо побежали за ним. Я был уверен, что отравил Пёмбельчука, но как — я не мог себе объяснить. В моем отчаянном положении, мне стало уже легче, когда его привели назад и он, обзрев всех присутствовавших с кислым выражением, кинулся в свое кресло, восклицая: «деготь!» Я понял, что бутылку с водкой я утром долил дегтярной водой. Я был уверен, что ему будет все хуже и хуже и двигал стол, как какой-нибудь медиум нашего времени, силою моего невидимого прикосновения.

— Деготь! — кричала моя сестра с изумлением. — Как мог попасть туда деготь?

Но дядя Пёмбельчук, неограниченно властвовавший в нашей кухне, ничего не хотел слышать и, величественно махая рукою, чтоб больше об этом не говорили, потребовал пуншу. Сестра моя, начинавшая было задумываться, теперь суетилась, побежала и принесла все нужное для пунша: кипятку, сахару, лимонной корки и джину. Я был спасен, хотя на время, но все же не выпускал из рук столовой ножки и еще более к ней прижался с чувством благодарности.

Понемногу я успокоился, расстался с своей ножкой и начал есть пудинг. Мистер Пёмбельчук

также ел пудинг и все ели пудинг. Обед наш кончился и мистер Пёмбельчук развеселялся от действия пунша; я уж думал, что этот день для меня пройдет удачно. Но вдруг моя сестра крикнула: «Джо! чистые тарелки — холодные». Я в ту же минуту судорожно ухватился за ножку стола и прижал ее к своему сердцу, словно то был мой лучший друг и товарищ. Я предвидел, что будет; я был уверен, что теперь я не отделаюсь.

— Вы должны отведать, — обратилась любезно сестра моя ко всем гостям: — вы должны отведать, на закуску, великолепного, бесподобного подарка мистера Пёмбельчука.

— Должны! Нет, шутите!

— Вы должны знать, — прибавила сестра, вставая: — это пирог отличный, со свиной.

Все общество рассыпалось в комплиментах, а мистер Пёмбельчук, уверенный, в том, что заслуживает похвалы от своих сограждан, сказал с оживлением:

— Ну, мистрис Джо, мы постараемся сделать честь пирогу, и не откажемся взять по кусочку.

Сестра моя пошла за пирогом. Я слышал, как шаги ее приближались к кладовой. Я видел, как мистер Пёмбельчук нетерпеливо ворочал своим ножом, а у мистера Уопсея римские ноздри как-то особенно раздувались, выражая непомерную жадность. Я слышал замечание мистера Гибля, что

«кусочек вкусного пирога со свининой хорошо ляжет поверх какого угодно обеда»; наконец Джо мне говорил: «и ты получишь кусочек, Пип». Я до сих пор достоверно не знаю, действительно ли я завопил от ужаса, или мне это только показалось. Я чувствовал, что уже не в силах более терпеть и должен бежать. Я выпустил из своих объятий ножку стола и побежал со всех ног; но не пробежал далее нашей двери, ибо там наткнулся на целый отряд солдат с ружьями. Один из них, показывая мне кандалы, кричал: «Ну, пришли! Смотри в оба! Заходи!»

V

Появление отряда солдат, которые стучали прикладами заряженных ружей о порог дома, заставило обедавших встать в замешательстве из-за стола. В это время мистрис Джо воротилась в кухню с пустыми руками и остановилась неподвижно, с выражением ужаса, восклицая:

— Боже мой! куда девался мой пирог?

Мы с Сержантом были тогда в кухне, и эта выходка мистрис Джо отчасти привела меня в себя. Сержант перед тем говорил со мной, а теперь он любезно обратился ко всей компании, держа в одной руке кандалы, а другою опираясь на мое плечо.

— Извините меня, милостивые государи и государыни, — сказал он: — но как я уже объяснил при входе этому прекрасному юноше (чего он, между прочим, и не думал делать): я командирован по службе и ищу кузнеца.

— А позвольте узнать, что вам от него надо, — возразила моя сестра, недовольная тем, что он понадобился.

— Мистрис, — отвечал любезно сержант: — говоря за себя, я бы ответил вам, что ищу чести и удовольствия познакомиться с его милой супругой, но, говоря от имени короля, я скажу, что для него есть маленькая работа.

Все приняли это за любезность со стороны сержанта; так что даже мистер Пёмбельчук воскликнул во всеуслышание:

— Прекрасно!

— Видите, кузнец, — сказал сержант, отыскавший в то время глазами Джо: — у нас был случай с этими кандалами и я заметил, что валок у одних из них поврежден и связи действуют не совсем то хорошо. Их надобно немедленно употребить в дело; потрудитесь взглянуть на них.

Джо взглянул и объявил, что для этой работы надо развести огонь в его кузнице и потребуется часа два времени.

— Вот как! В таком случае, примитесь за нее немедленно, господин кузнец, — сказал

расторопный сержант. — Этого требует служба его величества. Если мои люди могут вам в чем-нибудь пригодиться, то распоряжайтесь ими.

С этими словами, он позвал солдат, которые взошли в кухню, один за другим, и сложили свое оружие в углу; затем, они стали в кружок, как обыкновенно становятся солдаты: кто скрещивал руки, кто потягивался, кто ослаблял португую, кто, наконец, отворял дверь, чтоб плюнуть на двор, неловко поворачивая шею, стесненную высоким воротником.

Все это я видел бессознательно, находясь в то время в величайшем страхе. Но, начиная убеждаться, что колодки не для меня и что солдаты своим появлением отодвинули пирог на задний план, я стал понемногу сосредоточивать рассеянные мысли.

— Сделайте одолжение, скажите, который час? — сказал сержант, обращаясь в мистериу Пёмбельчуку, как к человеку, за которым он признавал по-видимому способность ценить время.

— Только что пробило половина третьего.

— Это еще ничего, — сказал сержант, соображая: — если я буду задержан здесь даже около двух часов, то все еще поспеет. Сколько, по-вашему, отсюда до болот? Не более мили, я полагаю?

— Ровно миля, — сказал мистер Джо.

— Ну, так успеем. Мы оцепим их в сумерки. Мне так и велено. Успеем.

— Беглых колодников, сержант? — спросил мистер Уопсель, с уверенностью.

— Да, — возразил сержант: — двоих. Нам известно, что они еще находятся на болотах и до сумерек, верно, не решатся выйти оттуда,

— А что, не наткнулся ли кто из вас на нашего зверя?

Все, кроме меня, с убеждением отвечали отрицательно. Обо мне же никто и не подумал.

— Ладно, — сказал сержант: — я надеюсь их окружить прежде, чем они ожидают. Ну-ка, кузнец, если вы готовы, то его королевское величество ждет вашей службы.

Джо снял верхнее платье, жилет и галстук, надел свой кожаный фартук и пошел в кузницу. Один из солдат отворил в ней деревянные ставни, другой развел огонь, третий, принялся раздувать мехи, остальные расположились вокруг очага, в котором вскоре заревело пламя. Тогда Джо принялся ковать, а мы все глядели, стоя вокруг. Интерес предстоявшего преследования не только поглощал всеобщее внимание, но даже расположил сестру мою к щедрости. Она налила из бочонка кувшин пива для солдат и пригласила сержанта выпить стакан водки. Но мистер Пёмбельчук сказал резко:

— Дайте ему вина, сударыня: я ручаюсь, что в нем нет дёгтя.

Сержант поблагодарил и сказал, что предпочтет напиток, в котором нет дёгтя и потому охотнее выпьет вина, если им все равно. Ему поднесли вина, и он выпил за здоровье короля, провел языком по губам и поздравил с праздником.

— Ведь, не дурно вино, сержант — а? — сказал мистер Пёмбельчук.

— Знаете, что, — возразил сержант: — я подозреваю, что оно запасено вами.

Мистер Пёмбельчук засмеялся густым смехом и спросил:

— Э-э! почему же?

— А потому, — отвечал сержант, трепля его по плечу: — что я вижу, вы знаете толк в вещах.

— Вы, думаете? — спросил мистер Пёмбельчук, все с тем же смехом: — хотите еще рюмочку?

— Вместе с вами, чокнемся, — возразил сержант. — Стукнем наши рюмки краем о ножку, ножку о край. Раз-два! Нет лучше музыки как звон стаканов! За ваше здоровье. Желаю, чтоб вы прожили тысячу лет и никогда не переставали быть таким знатоком в вещах, как в настоящую минуту.

Сержант снова выпил залпом свою рюмку и, казалось, был бы не прочь от третьей. Я заметил, что мистер Пёмбельчук в припадке гостеприимства,

казалось, забыл, что вино им подарено, и, взяв бутылку у мистрис Джо, весело передавал ее из рук в руки. Даже и мне досталось. Он так расщедрился на чужое вино, что спросил и другую бутылку и подчивал из нее так же радушно.

Глядя на них в то время, как они весело толпились вокруг наковальни, я подумал: «какая отличная приправа для обеда мой беглый приятель, скрывающийся в болотах!» Они не испытывали и в четвертой долю того, не наслаждались, пока мысль о нем не оживила банкета. Теперь все они были развлечены ожиданием словить «двух мерзавцев». В честь беглецов, казалось, ревели мехи, для них сверкал огонь, за ними в погоню уносился дым, для них стучал и гремел Джо, и с угрозой пробегали тени по стенам каждый раз, что пламя подымалось и опускалось, разбрасывая красные искры. Даже бледный вечерний свет, в сострадательном юношеском воображении моем, казался, бледнел для них, бедняжек, раньше обыкновенного. Наконец Джо окончил свою работу и рев и стук прекратились. Надевая свое платье, Джо храбро предложил, чтоб один из нас пошел за солдатами и передал остальным об исходе поиска. Мистер Пёмбельчук и мистер Гибл отказались, предпочитая дамское общество и трубку; но мистер Уопсель объявил, что он согласен идти, если Джо пойдет. Джо сказал, что ему будет очень приятно, причем

предложил взять и меня с собою, если мистрис Джо на то согласна. Я уверен, что вам ни за что не позволили бы отправиться, если б не любопытство мистрис Джо, которая хотела узнать все подробности дела. Теперь же она только заметила, отпуская нас: «Если вы мне приведете мальчика с головой разmozженной выстрелом, то не надейтесь, чтоб я помогла беде». Сержант учтиво распростился с дамами и расстался с мистером Пёмбельчуком, как с добрым приятелем, хотя я сомневаюсь, чтоб он одинаково ценил достоинства этого джентльмена, если б познакомился с ним в сухую. Люди разобрали свои ружья и построились. Мистер Уопсель, Джо и я полупили строгое наставление оставаться в арьергарде и не говорить ни слова, когда мы достигнем болота. Пока мы быстро подвигались к месту назначения, я предательски шепнул Джо:

— Надеюсь, Джо, что мы не найдем их.

Джо также шепотом отвечал мне.

— Я бы дал шиллинг, чтоб они удрали и спаслись, Пип.

Никто не присоединился к нам из деревни, так как погода была холодная и ненадежная, дорога опасная и скользкая, ночь темная, и всякий добрый человек имел у себя добрый огонёк в честь праздника. Несколько лиц показалось у окон, глядя нам в след, но никто не вышел за ворота. Мы

прошли заставу и направились прямо к кладбищу. Здесь сержант остановил нас на несколько минут, подав знак рукой, между тем как двое или трое из его людей рассыпались по тропинкам между могил и осмотрели паперть. Они воротились, не найдя ничего, и мы вышли на открытое болото, через боковую калитку кладбища. Тут нас обдало мелкою влагою, принесенною восточным ветром, и Джо взял меня на спину.

Теперь, когда мы вступили в эту унылую глушь, где я был часов восемь назад и видел обоих беглых, чего никто не предполагал, меня впервые поразила мысль, если мы наткнемся на них, то уж не подумает ли мой колодник, что я привел солдат? Ведь, он спрашивал меня: не вероломный ли я чертёнок, и сказал, что я был бы злой щенок, если б стал преследовать его вместе с другими. Не подумает ли он теперь, что я и подлинно чертёнок и собака, и что я выдал его? Но было бесполезно предлагать себе подобные вопросы: я был на спине у Джо, Джо был подо мною, перескакивая через ямы, как охотничья лошадь, и убеждая мистера Уопсея не падать на свой римский нос и не отставать от нас. Солдаты шли впереди, вытянувшись в одну длинную шеренгу, на дистанции один от другого. Мы шли по той дороге, по которой я шел утром и с которой сбился по причине тумана. Теперь тумана не было: он еще не

появился, или ветром успело рассеять его. При багровом блеске солнечного заката, вежа и виселица, вал батареи и противоположный берег реки были ясно видны, хотя в какой-то водянистой, свинцовой полутени. Сердце мое билось, как кузнечный молот, о широкое плечо Джо, пока искал я по сторонам признаков присутствия каторжников. Но их не было ни видно, ни слышно. Мистер Уопсель не раз сильно пугал меня своим сопеньем и одышкой; но под конец я свыкся с этими звуками и мог различить их от звуков, которые опасался услышать. Вдруг я вздрогнул: мне послышался визг напилка; но оказалось, что это колокольчик на овце. Овцы перестали щипать траву и боязливо поглядывали на нас; все стадо, повернувшись спиной к дождю и ветру, злобно уставило на нас глаза, как будто считая нас виновниками того и другого. Кроме медленного движения пасшегося стада, при мерцавшем свете замиравшего дня, ничто не нарушало леденящего спокойствия болот.

Солдаты подвигались по направлению к старой батарее, а мы шли за ними в небольшом расстоянии, как вдруг мы все остановились: ветром принесло к нам протяжный крик. Крик этот, громкий и пронзительный, повторился вдалеке: в нем слышалось несколько голосов.

Сержант и ближайшие к нему люди рассуждали шепотом, когда мы с Джо подошли к

ним. Послушав их с минуту, Джо, хороший знаток дела, согласился с ними, и мистер Уопсель, плохой знаток, также согласился. Сержант, человек решительный, приказал своим людям не отвечать на крик, но переменить дорогу и идти беглым шагом по направлению, откуда он слышался. Вследствие этого, мы пошли фланговым движением направо, и Джо так зашагал, что я должен был крепко держаться, чтоб усидеть у него на плечах.

Мы теперь просто бежали или, как выразился Джо, который только эти слова и произнес во всю дорогу: — это был настоящий вихрь. С холма на холм, через плетни, мокрые рвы, хворост — словом, никто не разбирал, куда ступал. По мере приближения к месту, откуда слышались крики, становилось все яснее, что кричало несколько голосов. По временам, крики умолкали, тогда и солдаты останавливались. Когда голоса снова раздавались, они бросались вперед еще с большею поспешностью, и мы за ними. Пробежав несколько времени таким образом, мы могли расслышать один голос, кричавший: «режут», а другой — «каторжники! беглые! Караул! Сюда! Здесь беглые каторжники!» Затем голоса, как будто заглушались в борьбе и потом снова раздавались. После этого солдаты мчались, как испуганный зверь, а за ними и Джо со мною. Первый добежал сержант, вслед за ним двое из его людей. Когда мы догнали их, то у

них уж были взведены курки. «Вот они оба!» закричал сержант, спустившись в ров. «Сдавайтесь, проклятые звери! Чего сцепились?»

Брызги и грязь летела во все стороны; раздавались проклятия и удары. Еще несколько человек спустилось в овраг, чтоб помочь сержанту, и вытащили оттуда порознь, моего каторжника и его товарища. Оба были в крови, запыхавшись, и посылали друг другу проклятия. Разумеется, я тотчас узнал обоих. «Не забудьте» — сказал мой колодник, оборванным рукавом своим утирая с лица кровь и отрясая с пальцев клочья вырванных волос: «я взял его! Я выдаю его вам — помните это!»

— Нечего тут распространяться, — сказал сержант: — это немного принесет тебе пользы, любезный, так как ты попался с ним в одну беду. Давайте сюда колодки!

— Я и не ожидаю себе никакой пользы. Мне и не надо лучшей награды, чем то, что теперь чувствую, — ответил мой каторжник со злобным смехом. — Я взял его — он это знает: с меня довольно.

Другой каторжник был бледен, как мертвец и, вдобавок к прежде избитой левой стороне лица, теперь, казалось, был весь избит и оборван. Он не мог собраться с духом, чтоб заговорить, пока они оба не были скованы порознь, и опирался на

солдата, чтоб не упасть.

— Заметьте, сержант, что он покушался убить меня! — были первые слова его.

— Покушался убить его? — произнес мой каторжник презрительно.

— Покушался и не исполнил? Я взял его и теперь выдаю — вот что я сделал. Я не только помешал ему уйти из болот, но притащил его сюда в то время, как он уже утекал. Ведь, эта каналья — джентльмен; теперь, по моей милости, на галеры опять попадет, джентльмен. Убить его? Очень нужно мне было убивать его, когда я мог сделать гораздо лучше, снова упрятать его туда!

Другой же все повторял, задыхаясь:

— Он пытался... он пытался... убить... меня. Будьте свидетелями.

— Послушайте, — сказал мой каторжник сержанту: — я собственными средствами бежал из тюрьмы; я точно так же мог бы удрать из этих убийственных болот; взгляните на мою ногу: не много на ней железа. Но я нашел его здесь. Дать ему уйти на волю? Дать ему воспользоваться найденными мною средствами! Быть снова и вечно его орудием! Нет, нет, нет! Если б я погиб там, на дне. — И он своими скованными руками драматически указал на овраг: — я так крепко впился бы в него когтями, что и тогда вы наверное нашли бы его в моих руках.

Другой беглец, который видимо сильно боялся своего товарища, все повторял:

— Он пытался убить меня. Я бы не остался в живых, если б вы не подоспели.

— Он лжет! — с дикой энергией воскликнул мой колодник. — Он родился лжецом и умрет им. Взгляните на его лицо: разве это не написано на нем? Пускай он взглянет мне в глаза, мерзавец — не посмеет.

Другой пытался скорчить презрительную улыбку, которая, впрочем, не могла придать никакого постоянного выражения нервически-судорожным движениям его рта; посмотрел на солдат, на окружавшие болота, на небо, но не посмел взглянуть на говорившего.

— Видите ли, — продолжал мой каторжник: — видите ли, какой он мерзавец? Видите вы эти блуждающие, нерешительные взоры? Вот так смотрел он, когда нас с ним судили. Он ни разу не взглянул на меня.

Другой, продолжая работать своими сухими губами и боязливо оглядываться, наконец, на минуту обратил глаза на говорившего с словами:

— Не слишком-то любо на тебя смотреть, — и бросил полупрезрительный взгляд на свои скованные руки.

При этом мой каторжник пришел в такое бешенство, что он непременно бросился бы на

товарища, если б солдаты не удержали его.

— Разве я не говорил вам, — сказал тогда другой каторжник: — что он убил бы меня, если б мог? И все могли заметить, что он трясся от страха, что на губах его выступили странные белые пятна, подобные снежной плеве.

— Довольно этой перебранки! — сказал сержант. — Зажгите факелы!

В то время как один из солдат, который нес корзину, вместо ружья, стал на колени, чтоб открыть ее, мой каторжник в первый раз взглянул вокруг себя и увидел меня. Я слез со спины Джо на окраину оврага, когда мы пришли и с тех пор не пошевельнулся. Я пристально посмотрел на него в то время, как он взглянул на меня, и потихоньку сделал знак рукой и покачал головой. Я ждал, что он снова посмотрит на меня, чтоб постараться предупредить его в моей невинности. Ничто не доказывало мне, что он понял мое намерение, потому что он бросил на меня непонятный взгляд. Все это продолжалось одно мгновение. Но смотри он на меня целый час или целый день, то я не припомнил бы, чтоб лицо его когда-либо выражало столь сосредоточенное вникание.

Солдат скоро высек огня и зажег три или четыре факела, взял один из них и роздал другие. До сих пор было почти темно, но теперь показалось совершенно темно, а немного спустя и очень темно.

Прежде нежели мы двинулись в путь, четыре солдата стали в кружок и выстрелили дважды на воздух. Вслед за этим, мы увидели, что засверкали другие факелы в некотором расстоянии за нами, в болотах, по ту сторону реки.

— Ладно, — сказал сержант: — марш!

Мы отошли несколько шагов, как над нашими головами раздались три пушечные выстрела с таким громом, что мне показалось, будто у меня порвалось что-то в ушах.

— Вас ожидают на понтоне, — сказал сержант. — Там уже знают, что вы приближаетесь. Не отставай, любезный. Идите теснее.

Каторжники были разлучены, и каждый из них шел под особым караулом. Я теперь держал Джо за руку, а он нес один из факелов. Мистер Уопсель был того мнения, что следовало вернуться, но Джо решился досмотреть до конца, итак мы пошли вместе с другими. Теперь нам приходилось идти по изрядной тропинке, большею частью вдоль берега реки, с небольшими отклонениями в сторону, в местах, где попадались плотины с небольшими ветряными мельницами и грязными шлюзами. Оглянувшись, я заметил, что другие огоньки следовали за нами. Наши факелы бросали большие огненные брызги на дорогу, лежавшие на ней, догорая и дымясь. Я ничего не различал, кроме черного мрака. Огни наши своим смолистым

племенем согревали вокруг нас воздух, к видимому удовольствию наших пленников, прихрамывавших среди ружей. Мы не могли идти скоро, но причине их увечья. Они так были изнурены, что мы два или три раза должны были делать привалы, чтоб дать им отдохнуть.

После часа подобного путешествия, или около того, мы достигли грубой деревянной лачужки у пристани. В лачужке был караул, который нас окликнул. Сержант откликнулся и мы вошли. Здесь мы почувствовали сильный запах табаку и известки, и увидели яркое пламя, лампу, стойку с ружьями, барабан и низкую деревянную кровать, похожую на огромный каток без механизма, на котором могло поместиться разом около дюжины солдат. Три или четыре солдата, лежавшие на ней в своих шинелях, казалось, не слишком интересовались нами; они только приподняли головы, устремили на нас сонный взгляд и потом снова улеглись. Сержант представил нечто в роде рапорта, занес его в свою книгу и затем, тот каторжник, которого я называю другим каторжником, был уведен с своим караулом, и переправлен на понтон. Мой колодник не глядел на меня. Пока мы были в лачужке, он стоял перед огнем, задумчиво глядя на него и ставя попеременно, то одну ногу, то другую на решетку, и в раздумье глядел на присутствующих, будто

жалая их за недавно испытанную усталость. Вдруг он обратился к сержанту:

— Я желаю сообщить нечто относительно моего побега: это может избавить кой-кого от подозрения, под которым они находятся по моей милости.

— Вы можете говорить что хотите, — возразил сержант, который стоял, глядя на него равнодушно, с сложенными руками: — но вас никто не просит говорить здесь. Вы будете иметь довольно случаев говорить и слышать об этом прежде, нежели покончат с вами.

— Я знаю; но это другой вопрос, совершенно особое дело. Человек не может околеть с голода; по крайней мере я не могу. Я нашел себе пищу в той деревне, там, наверху — где церковь выдается на болото.

— Вы хотите сказать, что вы украли? — сказал сержант.

— И я скажу вам у кого. У кузнеца.

— Вот как! — сказал сержант, пристально глядя на Джо.

— Ого, Пип! — сказал Джо, глядя на меня.

— То были какие-то объедки, штоф водки и пирог.

— А что, пропадал у вас пирог, кузнец? — спросил сержант вполголоса.

— Жена моя заметила, что он исчез в ту

самую минуту, как вы вошли. Помнишь Пип?

— А! — сказал мой каторжник, обратив угрюмый взор на Джо и не взглянув на меня: — так это вы кузнец? В таком случае мне очень жаль, но я должен признаться, что съел ваш пирог.

— На здоровье. Видит Бог, я на вас не пеняю за это, по крайней мере, на сколько пирог когда-либо принадлежал мне, — прибавил Джо, вспоминая и тут о Мистрис Джо: — мы не знаем вашей вины, но мы никак не хотели бы, чтобы вы за это умерли с голоду, кто бы вы ни были, несчастный человек. Не правда ли, Пип? Неопределенный звук, который я уже раз заметил, снова послышался у незнакомца в горле и он повернулся к нам спиной. Лодка воротилась, караул был готов; мы последовали за ним на пристань, убитую камнем и грубыми сваями, и видели как его посадили в лодку, на которой был ряд гребцов из таких же каторжников, как он сам. Казалось, никто из них не был удивлен или обрадован, огорчен или заинтересован при виде его. Все молчали. Наконец раздалось грубое приказание, будто собакам: «Отваливай!» и вслед за этим каторжники взмахнули веслами. При свете факелов мы увидели черный понтон, стоявший на якоре в небольшом расстоянии от берега, как зловещий Ноев ковчег. Обшитый железом, связанный болтами и укрепленный тяжелыми заржавленными цепями,

этот тюремный корабль, казалось, был скован, как и заключенные в нем преступники. Мы видели, как лодка подошла к нему, как моего преступника взяли на борт и как он скрылся. Тогда обгорелые концы факелов были брошены в воду, зашипели и погасли, как будто и с ними все кончилось.

VI

Чувства, возбужденные во мне воровством, которое так счастливо сошло мне с рук, ни мало не побуждали меня к откровенности; но я надеюсь, что в основании их лежала своя частичка добра.

Я не запомню, чтобы чувствовал угрызения совести относительно мистрис Джо, когда гроза миновала. Но Джо я любил, быть может, потому, что в те юные годы он не отталкивал моей любви и мне совестно было обманывать его. Несколько раз (особенно когда я увидел, что Джо ищет свой напилек) я готов был сказать ему всю правду. И все же не решался, боясь, чтоб Джо не получил слишком дурное обо мне мнение. Язык мой связывало опасение лишиться доверенности Джо, и потом проводить длинные скучные вечера у камина, глядя тоскливо на прежнего товарища, теперь от меня отшатнувшегося. Я полагал, что если раскрою перед Джо свою тайну, то всякий раз, когда он станет задумчиво расправлять свои

бакенбарды, мне будет казаться, что он думает именно о моем проступке; всякий раз, когда у нас на столе появится вчерашнее жаркое или пудинг, мне будет казаться, что Джо, глядя на него, раздумывает: был ли я сегодня в кладовой или нет? и всякий раз, когда он станет жаловаться, что пиво его или слишком жидко или слишком густо, мне будет казаться, что он подозревает в нем присутствие дегтя — и я буду невольно краснеть... словом, я был слишком труслив, чтобы исполнить долг мой теперь, как прежде из трусости решился на проступок. Я не имел никаких сношений с светом и потому не мог действовать из подражания его многочисленным деятелям, поступающим подобным образом. Гений-самоучка, я изобрел этот образ действия без посторонней помощи.

Мы не успели далеко отойти от понтонна, как я уже почти спал, и потому Джо взвалил меня к себе на плечи и так донес до дома. Должно быть весь обратный путь был неприятен, потому что мистер Уопсель очень изнурился и был в таком настроении духа. Будь только духовное поприще для всех открыто, он непременно предал бы проклятию всю экспедицию, начиная с Джо и меня; но, как человек недуховный, он упорно отказывался идти вперед прежде, чем порядочно отдохнет, и действительно, так неумеренно долго сидел на сырой траве, что когда, возвратившись домой, он снял и повесил

сушиться свой сюртук, штаны его представляли такую неоспоримую улику, что она непременно привела бы его к виселице, будь его вина уголовная.

Очутившись вдруг на полу, в светлой и теплой кухне, и пробужденный дружным говором всего общества, я долго не мог очнуться и, как пьяный, едва держался на ногах. Когда я пришел в себя, при помощи здорового пинка в шею и, протрезвляющих слов моей сестры: «Ну, есть ли на свете другой такой мальчишка?» я услышал, что Джо рассказывал о признании беглого, и все строили различные предположения о том, каким образом он попал в кладовую. Мистер Пёмбельчук, тщательно осмотрев местность, решил, что он прежде всего взлез на крышу кузницы, оттуда перебрался на крышу дома и потом, посредством веревки, скрученной из простынь, спустился в кухонную трубу, и так как Пёмбельчук утверждал это очень положительно и так как он имел к тому же собственную одноколку, в которой разъезжал и дивил народ, то все согласились, что он прав. Правда, мистер Уопсель, с мелочною злобою утомленного человека, свирепо прокричал: «нет», но никто не обратил на него внимания, так как в подкрепление своих слов, он не мог представить никакой теории и, к тому же, был без сюртука, не говоря уже о спине, обращенной к огню, из которой

пар так и валил.

Это было все, что я успел услышать в этот вечер. Мои сестра схватила меня, как сонное оскорбление обществу, и так грубо потащила меня спать, что мне показалось, будто на ногах у меня болталось с полсотни сапог, которые бились и цеплялись о каждую ступеньку лестницы.

То умственное настроение, которое я описывал выше, началось для меня с следующего утра и продолжалось долго-долго, когда уже все забыли об этом деле, и разве только случайно возвращались к нему.

VII

В то время, когда я разбирал подписи на семейных могилах, я умел только читать по складам. Даже смысл, который я придавал этим простым, нехитрым словам, не был очень точен. Так, например, слово «вышереченный» я принимал за весьма лестный намек на то, что мой отец переселился в лучший мир; и если б в отзыве об одном из моих родственников стояло слово «нижереченный», то я был бы самого дурного о нем мнения. Богословские понятия, почерпнутые мною из катехизиса, также не были очень ясны. Я живо помню, что слова «Ходити в путех сих во вся дни живота моего», по моему мнению, обязывали меня

проходить всю деревню по известному направлению, не сворачивая ни на шаг с указанного пути.

Достигнув порядочного возраста, я должен был поступить в ученье в Джо, а до тех пор — говорила мистрис Джо — меня не следовало баловать и нежить.

На этом основании я не только находился в качестве рассыльного мальчика при кузнице, но и всякий раз, когда кому-нибудь из соседей понадобится сверхштатный мальчик, чтоб гонять птиц, подбирать камни или исполнять какую-нибудь другую столь же приятную службу, я был к их услугам; но, чтоб не скомпрометировать этим нашего почтенного положения в обществе, в кухне над камином постоянно красовалась копилка, в которую, как всем было известно, опускались мои заработки. Я имел подозрение, что, в чрезвычайных случаях, они шли на уплату государственного долга, и не надеялся когда-нибудь воспользоваться этим сокровищем.

Тётка мистера Уопсея содержала в нашей деревне вечернюю школу или, лучше сказать, эта смешная, убогая старушонка, с весьма ограниченным состоянием, имела обыкновение спать каждый вечер от шести до семи часов в обществе молодёжи, платившей ей за это назидательное зрелище по два пенса в неделю. Она

нанимала целый маленький коттедж, мезонин которого занимал мистер Уопсель, и мы нередко слышали, как он читал там вслух самым торжественным и ужасающим образом, топая по временам ногою, так что у нас дрожал потолок. Существовало поверье, что мистер Уопсель экзаменует учеников каждую четверть года; но он в этих случаях ограничивался только тем, что засучивал обшлага своего сюртука, взъерошивал волосы и читал нам речь Марка Антония над трупом Цезаря. За этим немедленно следовала ода к страстям, Коллинса; мистер Уопсель особенно приводил меня в восторг в роле Мести, когда она с громом бросает на землю окровавленный меч и с тоскливым взглядом берется за трубу, чтоб возвестить войну. Тогда было другое дело, не то, что после, когда я в жизни узнал настоящие страсти и сравнил их с Коллинсом и Уопселем, конечно, не к чести того и другого.

Тётка мистера Уопсея, кроме училища, держала еще в той же комнате мелочную лавочку. Она не имела понятия о том, что у нее было в запасе и по каким ценам; только маленькая засаленная записная книжка, всегда хранившаяся у нее в ящике, служила прејскурантом. По этому оракулу Биди справляла все торговые операции. Биди была внучка тётки мистера Уопсея. Я открыто каюсь, что не в силах разрешить задачи: в

каком родстве она находилась к мистеру Уопселю.

Как я, она была сирота; как я вскормлена от руки. Изо всей ее наружности прежде всего бросались в глаза оконечности: волосы ее были не чесаны, руки не мыты, башмаки разодраны и стоптаны на пятках. Разумеется, описание это относится только к будничным дням; по воскресеньям она ходила в церковь, распичужившись как следует.

Своими собственными усилиями и при помощи скорее Биди, чем тётки мистера Уопселя, я пробивался сквозь азбуку, как сквозь частый, колючий кустарник, утомляясь и безмилосердно уязвляя себя колючками. Затем я попал в руки этих разбойников — девяти цифр, которые, кажется, всякий вечер принимали новые образы, чтоб окончательно сбивать меня с толку; но наконец, я начал читать, писать и считать, но как-то ощупью и в весьма малых размерах.

Как-то раз, вечером, сидя в углу у камина, с грифельною доскою в руках, я употреблял невероятные усилия, чтоб сочинить письмо к Джо. Должно быть, это было ровно чрез год после нашей охоты за колодниками, так как с тех пор уже прошло много времени и на дворе стояла зима с жестокими морозами. С азбукою у ног моих, для справок, я чрез часов, или два, успел не то написать, не то напечатать письмо к Джо:

«МОИ МИЛОИ ЖО я наДЮС ты Сои 7 сДороФ
я сКРО ВудЮ УМет уч и Т Б ЖО И таДа будит
ОЧн всЭЛО И Ко Да Я БУДЮ ВУчени И УТБ ЖО Т
Б мНоГО ЛюбиЩ ТБ Пип.»

Никто не принуждал меня, переписываться с Джо, тем более что он сидел рядом со мною и мы были одни; но я собственноручно передал Джо свое послание (доску и все припасы), и он принял его за чудо знания.

— Ай-да, Пип, старый дружище! — сказал Джо, широко раскрыв свои голубые глаза. — Да какой же ты у меня ученый!

— Хотел бы я быть ученым, — сказал я, бросив вскользь нерешительный взгляд на доску; мне показалось, что писание мое шло немного в гору.

— Как, да вот тут Ж, — сказал Джо: — а вот и О, да и какое еще! Вот те, Ж и О, Пип, Ж — О — Джо.

Никогда не слышал я, чтоб Джо разбирал что-нибудь, кроме этого односложного слова, а прошлое воскресенье я заметил, что он в церкви и не спохватился, когда я нечаянно повернул молитвенник вверх ногами. Желая воспользоваться этим случаем, чтоб разузнать придется ли мне учить его с азов, я сказал:

— Да прочти же остальное, Джо.

— Остальные, Пип? — сказал Джо медленно,

чего-то доискиваясь в моем писании. — Один, два, три, да вот тут три Ж и три О, как раз три Джо, Пип.

Я наклонился через плечо Джо и, тыкая пальцем, прочел письмо сполна.

— Удивительно! — сказал Джо, когда я кончил. — Да ты, брат, *совсем* ученый.

— А как ты складываешь Гарджери, Джо? — спросил я скромным, но покровительствующим тоном.

— Как я складываю? Да я совсем не складываю; — сказал Джо.

— Ну, положим, ты вздумал бы складывать?

— Да это и положить нельзя, — сказал Джо. — Хотя я страсть как люблю читать.

— Не-уже-ли, Джо?

— Страсть как люблю. Дай мне только хорошую книгу или хорошую газету и посади меня к камину, я и не прошу ничего лучшего. Боже ты мой! — продолжал он, потирая себе колени. — Наткнешься этак на Ж, а там на О и говоришь себе, вот это значит Джо — чрезвычайно приятно!

Из этих слов я заключил, что образованность Джо, как применение пара, находится еще в младенчестве. Затем я спросил у него:

— Ходил ты в школу, Джо, когда был моих лет?

— Нет, Пип.

— Зачем же ты не ходил?

— Видишь ли, Пип, — сказал Джо, взяв в руки лом и разгребая в камине красные уголья, что у него всегда означало внутреннюю, умственную работу. — Видишь ли, Пип, я тебе сейчас все расскажу. Отец мой любил выпить; а как выпьет, бывало, так и начнет колотить мать; безбожно колотил он ее, да и мне порядком доставалось; кажись, он почище отработывал меня, чем железо на наковальне. Понимаешь, Пип?

— Да, Джо.

— Ну, видишь ли, вот мы с матерью возьмем да и сбежим из дому; мать моя отправится на заработки и скажет мне: «Джо, вот, благодари Бога! ты попадешь теперь в школу, мальчик». И сведет она меня в школу. Но у отца была своя хорошая сторона: не мог, сердечный, жить без нас. Пойдет он, бывало, соберет толпу народа и подымет такой гвалт у дверей дома, где мы скрывались, что хозяева поневоле выдадут нас, только бы отделаться от него. А он заберет нас домой да и пойдет лупить по-старому. Вот сам теперь видишь, — добавил Джо, переставая на минуту разгребать огонь: — вот это и было помехою моему ученью.

— Конечно, бедный Джо.

— Однако, Пип, — сказал Джо, проведя раза два ломом по верхней перекладине решетки: —

всякому следует отдавать справедливость, всякому свое, и мой отец имел свою хорошую сторону, видишь ли?

Я этого не видел, но не стал ему поперечить.

— Ну, — продолжал Джо: — кому-нибудь да надо поддерживать огонь под котлом, иначе каши не сварить, сам знаешь.

Это я знал, и потому поддакнул.

— Следовательно, отец не противился, чтоб я шел на работу, итак я начал заниматься моим теперешним ремеслом, которое было бы и его поныне, если б он не бросил его. Я работал много, право много, Пип. Со-временем я был в состоянии кормить его и кормил до тех пор, пока его унес паралич. Я намерен был написать на его надгробном камне:

Каков бы он ни был,
читатель,
Доброта сердца была
его — добродетель.

Джо прочел эти стишки с такою гордостью и отчетливостью, что я спросил, уже не сам ли он их сочинил.

— Сам, — ответил Джо: — без всякой помощи. И сочинил я их в одно мгновение, словно целую подкову одним ударом выковал. Никогда в

свою жизнь не был я так удивлен, глазам не верил, по правде сказать; я даже начинал сомневаться, точно ли я их сам сочинил. Как я уже сказал, я намеревался вырезать эти слова на гробнице; но вырезать стихи на камне — будь они там мелко или крупно написаны — дорого стоит, потому я и не исполнил своего намерения. Не говоря уже о расходах на похороны, все лишние деньги были нужны моей матери. Она была слаба здоровьем и скоро последовала за отцом; пришла и ей очередь отойти на покой.

Глаза Джо покрылись влагою; он утер сначала один, потом другой глаз закругленным концом каминного лома.

— Скучно и грустно было жить одному, — продолжал Джо. — Я познакомился с твоей сестрой. Ну, Пип, — и Джо решительно посмотрел на меня, как бы ожидая возражения: — надо сказать, что твоя сестра красивая женщина.

На лице моем невольно выразилось сомнение и, чтоб скрыть это, я отвернулся, к камину.

— Что там ни говори семья, или хоть весь свет, Пип, а сестра твоя кра-си-вая женщина! Каждое из этих слов сопровождалось ударом лома о верхнюю перекладинку каминной решетки.

Я не сумел сказать ничего умнее, как:

— Очень рад слышать, Джо, что ты так думаешь.

— И я тоже, — подхватил Джо: — я очень рад, что так думаю, Пип. Что мне до того, что она больно красна и костлява немного?

Я очень остроумно заметил, что если ему не было до этого дела, то кому же и было?

— Конечно, — подтакнул Джо. — В том-то и дело. Ты совершенно прав, старый дружище! Когда я познакомился с твоей сестрою, только и было речи о том, как она тебя кормила от руки. Очень мило с ее стороны, говорили все, и я говорил то же. Что же касается до тебя, — продолжал Джо с выражением, будто видит что-то очень противное: — если б ты мог только себе представить, как слаб, мал и тщедушен ты был тогда, то право составил бы очень дурное о себе мнение.

Не очень довольный его словами, я сказал:

— Ну, оставьте меня в стороне.

— Однако, тогда я не оставил тебя, — сказал он с трогательною простотою: — когда я предложил твоей сестре сделаться моею сожительницею, обвенчавшись со мною в церкви, и она согласилась переселиться на кузницу, я сказал ей: «Возьмите с собою и мальчика, Господь благослови его! найдется и для него местечко на кузнице».

Заливаясь слезами, бросился я на шею Джо, прося у него извинения; Джо выпустил из рук лом и, обняв меня, сказал:

— Век были и будем образцовые друзья — не так ли, Пип? Ну, полно плакать, старый дружище!

Спустя несколько минут, Джо продолжал:

— Ну, видишь ли, Пип, вот в том-то и дело, в том-то и дело. Когда ты, значит, примешься учить меня (хотя я наперед должен сказать, что мне это учение смерть как надоедает), так надо устроиться так, чтоб мистрис Джо ничего не знала. Следует это делать украдкою. А зачем украдкою? — я сейчас скажу.

И он опять взял в руки лом, без которого, кажется, ничего важного не мог сказать.

— Твоя сестра предана правительству.

— Предана правительству, Джо?

Я был поражен этими словами и возымел смутное подозрение (по правде сказать, даже надежду), что Джо разведется с моей сестрою и что она скоро сделается женою какого-нибудь лорда адмиралтейства или казначейства.

— Предана правительству... — сказал Джо. — Я хочу сказать, что она любит властвовать над нами.

— А!

— И она не очень-то будет довольна иметь ученых под командою, — продолжал Джо: — особенно разозлится, коли узнает, что я вздумал учиться; чего доброго, подумает, что я намерен восставать против нее, как бунтовщик какой,

понимаешь?

Я хотел спросить у Джо объяснения, но не успел еще выговорить: «зачем же», как он перебил меня:

— Постой! постой, Пип; я знаю, что ты хочешь сказать; погоди минутку. Я знаю, что твоя сестра под час тиранствует над нами не хуже любого могола. Иной раз она действительно так наляжет, что, того и гляди, придушит. В такие минуты, — прибавил он, почти шепотом и боязливо поглядывая на дверь: — в такие минуты она, по правде сказать, сущая ведьма.

Джо произнес последнее слово, как будто оно начиналось двенадцатью В.

— Зачем же я не восстану? вот что ты хотел сказать, Пип, когда я тебя перебил.

— Да, Джо.

— Ну, Пип, — сказал Джо, взяв лом в левую руку, а правую расправляя свои бакенбарды...

Увидев эти приготовления, я начал терять надежду добиться от него толку.

— Сестра твоя — голова... У-у, какая голова! — кончил он.

— Это что? — спросил я, в надежде его озадачить.

Но Джо нашел определение гораздо скорее, чем я ожидал, и совершенно поставил меня в тупик своим непреложным доводом, сказав с

выразительным взглядом: «это она!»

— А я далеко не умен, — продолжал он, опустив глаза и принимаясь снова расправлять свои бакенбарды. — Да и наконец, Пип, старый дружище, я тебе не шутя скажу: довольно я нагледелся, как моя бедная мать унижалась а рабствовала, и не знала покоя целую жизнь. Меня просто страх берет идти наперекор женщине; из двух зол уж лучше мне самому побеспокоиться маленько. Хотел бы я только все на своих плечах выносить, чтоб тебе, старый дружище, не перепадало. Не все на сем свете цветочки, Пип; нечего отчаиваться.

Как ни был я молод, а мне кажется, с того вечера я стал питать еще более уважения к Джо.

— Однако, — сказал Джо, вставая, чтоб прибавить топлива в камин: — вот уже часы скоро пробьют восемь, а ее еще нет! Надеюсь, кобыла дяди Пёмбельчука не поскользнулась на льду и не вывалила их.

Мистрис Джо езжала иногда в город с дядей Пёмбельчуком, преимущественно в рыночные дни, чтоб помочь ему при покупке таких вещей и припасов, которые требовали женского глаза; дядя Пёмбельчук был холостяк и не полагался на свою экономку. Был именно рыночный день, и мистрис Джо выехала на подобную экспедицию.



Джо развел огонь, смахнул золу и пепел с очага и пошел к двери послушать, не едет ли одноколка дяди Пёмбельчука. Ночь была ясная, холодная; дул резкий ветер, и жестокий мороз забелил землю. Мне казалось, что провести подобную ночь на болоте, значило бы идти на верную смерть. И когда я взглянул на звездное небо, мне пришла в голову мысль, как ужасно должно быть положение человека, который,

замерзая, тщетно стал бы обращать умоляющий взор к этим блестящим светилам, ища помощи или сострадания.

— А вот и кобыла бежит! — сказал Джо. — Слышь, как звенят ее копыта, словно колокольчики.

И действительно, приятно было слышать дружные удары подков о твердую, замерзшую землю. Мы вытащили стул, чтоб пособить мистрис Джо выйти из экипажа; развели огонь, чтоб он весело светил в окно и окинули взглядом всю кухню, чтоб убедиться, что все в порядке и на месте. Мы были готовы их встретить, когда они подъехали, закутанные до ушей. Мистрис Джо скоро сошла на твердую землю; Пёмбельчук уже возился вокруг своей кобылы, накрыв ее попоною; и мы все вошли в кухню, внося с собою столько холоду, что, казалось, самый огонь остыл.

— Ну, — сказала мистрис Джо, торопливо раскутываясь и скинув с головы шляпку, так что она болталась у ней за спиной, держась на завязках. — Если этот мальчик не будет благодарен сегодня, то он никогда не будет благодарен.

Я старался принять выражение полнейшей благодарности на столько, на сколько может успеть в этом мальчик, решительно незнающий, за что ему быть благодарным.

— Чтоб его только не избаловали там, — сказала моя сестра: — я, право, боюсь этого.

— Она не из таковских, сударыня, — сказал мистер Пёмбельчук. — Она знает, как с этим народцем обращаться.

«Она?» и я взглянул на Джо, сопровождая это слово движением губ и бровей. «Она?» и Джо взглянул на меня, выказывая свое изумление движением губ и бровей.

Но сестра моя напала на него врасплох; он потер рукою нос и взглянул на нее с обычным в подобных случаях миролюбивым выражением.

— Ну, чего? — сказала она, огрызаясь. — Чего рот-то разинул? Али дом горит?

— Я слышал, какая-то особа, — учтиво намекнул Джо: — сказала: *она*.

— Известно она, — сказала моя сестра: — ты только разве скажешь про мисс Гавишам — он, да и ты вряд ли скажешь.

— Мисс Гавишам, что живет там, в городе? — спросил Джо.

— А разве есть какая-нибудь мисс Гавишам не в городе? — ответила моя сестра. — Она желает, чтоб этот мальчик, приходил ее забавлять, что он и будет делать, — прибавила она, качая головой, как бы желая поощрить меня в предстоящей мне деятельности. — Или я с ним расправлюсь.

Я слышал о мисс Гавишам, что жила в городе — кто не слышал о ней в нашем краю? — она была богатая и чрезвычайно-угрюмая дама; жила в

большом и страшном доме, заключенном со всех сторон, для предостережения от воров, и вообще вела совершенно отшельническую жизнь.

— Однако, — сказал Джо, совершенно озадаченный: — однако, откуда же она знает Пипа?

— Олух! — закричала моя сестра. — Кто же тебе говорит, что она его знает?

— Какая-то особа, — учтиво заметил Джо: — только что сказала, что *она* хочет, чтоб он ходил ее забавлять.

— А не могла она спросить дядю Пёмбельчука: не знает ли он мальчика, который бы приходил ее забавлять — а? И не могло разве случиться, что дядя Пёмбельчук нанимает у ней квартиру, и что он в ней ходит вносить деньги — я не говорю в каждую треть, потому что тебе этого не понять — а так, от времени до времени? И не могла она спросить у дяди Пёмбельчука, нет ли у него знакомого мальчика? И не мог разве дядя Пёмбельчук, который постоянно о нас печется, не мог ли он замолвить слово об этом мальчике... что тут топчешься? (чего я, клянусь, и не думал делать), и за которым я век свой нянчилась, как каторжная?

— Хорошо сказано! — воскликнул дядя Пёмбельчук: — ясно, сильно, выразительно, очень, очень хорошо. Ну, теперь вы понимаете, в чем дело, Джозеф?

— Нет, Джозеф, — сказала моя сестра, между

тем, как Джо смиренно потирал себе рукою нос, как бы желая загладить свою вину: — вы еще не знаете в чем дело, хотя, пожалуй, и думаете, что все знаете. Вы еще не знаете, что дядя Пёмбельчук, полагая, что этим мальчик может себе сделать дорогу в свет, предложил взять его сегодня же вечером в своей одноколке к себе на ночь, и завтра же утром руками сдаст его мисс Гавишам. — Боже ты мой милостивый! — сказала она, в отчаянии бросая в сторону свою шляпу: — я стою здесь и толкую с этими скотами! Дядя Пёмбельчук напрасно дожидается, а кобыла его, чего доброго, прозябнет. А тут этот мальчишка весь, с ног до головы, в грязи и угле.

И, сказав это, она накинулась на меня, как коршун на ягненка, и чего-чего не пришлось мне вытерпеть! Меня совали головою под кран, а лицом в корыто; меня и мылили, и шаровали песком, и терли полотенцами — словом, истязали до бесчувствия. Здесь не мешает мимоходом заметить, что я испытал лучше всякого другого на свете неприятное действие венчального кольца, неблагоприятно гуляющего по человеческой физиономии.

Когда кончились эти омовения, меня облачили в чистое белье, жесткое, как власяница кающегося грешника, и затанули в самое тесное платье, от которого я всегда приходил в трепет. В

таком виде я был сдан на руки мистеру Пёмбельчуку, который, между тем, горел нетерпением произнести давно знакомую мне речь, и теперь, формально приняв меня, разрешился словами:

— Мальчик, будь всегда благодарен твоим друзьям, особенно тем, кто вскормил тебя от руки.

— Прощай, Джо! — Крикнул я.

— Господь с тобою, Пип, старой дружище!

Никогда еще не расставался я с ним, и теперь, частью от волнения, частью от мыла, евшего мне глаза, не видел даже звезд, ярко-блестевших на небе. Понемногу, одна за другою, стали они выступать на небесном своде; но и они не проливали света на загадочный вопрос: «зачем ехал я к мисс Гавишам, и как мне придется забавлять ее?»

VIII

Жилище мистера Пёмбельчука, на большой улице рыночного города, имело вид не то лабаза, не то мелочной лавочки, чего и следовало ожидать от заведения торговца зерном и семенами. Я был уверен, что, имея столько ящичков в своей лавке, мистер Пёмбельчук должен был чувствовать себя очень счастливым. Я вытянул некоторые из этих ящичков, бывшие мне под рост, чтоб посмотреть, что

в них находится; при виде семян и луковиц, завернутых в серую бумагу, мне невольно пришло на мысль, с каким нетерпением они должны дожидаться, бедняжки, того светлого дня, когда, вырвавшись из заточения, они вырастут и зацветут.

Я предавался подобным размышлениям на следующее утро, после моего прибытия в город. Накануне меня сейчас же отправили спать в мезонин, под откосом крыши; постель моя приходилась под самую крышею в углу, так что, по моему расчету, между черепицею кровли и моим лбом было, не более фута расстояния. В то же утро я заметил необыкновенную связь между семенами и плисом. Мистер Пёмбельчук был одет в дорожчатый плис и сиделец его носил платье из той же материи; вообще, семена как-то отдавали плисом, а плис семенами, так что, в сущности трудно было решить, что чем пахло. При этом случае я заметил также, что мистер Пёмбельчук, по-видимому, справлял дела свои, стоя у окна и глаза через улицу на шорника; шорник, в свою очередь, вел торговлю, не спуская глаз с каретника, который подвигался в делах, засунув руки в карманы и поглядывая на булочника, а тот, сложа руки, следил за часовщиком. Часовщик, со стеклышком в глазу, пристально смотрел на свой столик, покрытый колесиками разобранных часов и, казалось, один на большой улице действительно был занят своим

делом, потому-то, вероятно, праздные мальчишки толпились у окна его.

Мистер Пёмбельчук и я позавтракали в комнате за лавочкой, а сиделец осушил свою кружку чаю и уничтожил огромный ломоть хлеба с маслом, сидя на мешке с горохом в передней комнате. Общество мистера Пёмбельчуна показалось мне самым скучнейшим в мире. Уже не говоря о том, что он разделял вполне мое мнение касательно приличной для меня пищи, которая, по ихнему, должна была иметь по возможности постный характер, вероятно, для укрощения моего характера; уже не говоря о том, что, вследствие подобного убеждения, он давал мне как можно более корок с соразмерно-малым процентом масла, а молоко разбавлял таким количеством горячей воды, что гораздо честнее было бы обойтись вовсе без него; оставя все это в стороне, всего обиднее было то, что весь разговор его ограничивался арифметикой. Когда я вошел в комнату и пожелал ему доброго утра, он преважно произнес: «Семью семь — мальчик?». Мне было не до ответа, после подобной встречи в чужом месте, да еще на голодный желудок; не успел я проглотить куска, как любезный Пёмбельчук начал бесконечное сложение, которое продолжалось во все время завтрака: «Семь и четыре, и восемь, и шесть, и два, и десять» и так далее.

Ответив на вопрос, я едва успевал проглотить кусок или хлебнуть глоток, как уже являлся новый вопрос; а он, между тем, сидел себе спокойно, не ломая головы и уплетая самым неприлично обжорливым образом жирную ветчину с теплым хлебом.

Потому не удивительно, что я обрадовался, когда пробило десять часов и мы отправились к мисс Гавишам, хотя я далеко не был уверен в том, что буду вести себя приличным образом под ее кровом. Через четверть часа мы уже были перед домом мисс Гавишам, старым, грустным строением, с железными решетками в окнах. Некоторые окна были заложены кирпичом, остальные тщательно ограждены решетками. Перед домом был двор, тоже загороженный железною решеткой, так что нам пришлось дожидаться, позвонив у калитки. Мистер Пёмбельчук и тут, пока мы ждали, сумел вклеить «и четырнадцать?», но я притворился, что не слышу и продолжал заглядывать на двор. Рядом с домом я заметил большую пивоварню, но в ней не варилось пиво, по-видимому, уже давно.

Открылось окно, и чистый голос спросил:

— Кто там?

На что мой спутник ответил:

— Пёмбельчук.

Голосок произнес:

— Хорошо.

Окно затворилось, и молодая барышня прошла по двору с ключами в руках.

— Это Пип, — сказал мистер Пёмбельчук.

— А! это Пип? — возразила барышня, очень хорошенькая и столь же гордая на взгляду. — Войди, Пип.

Мистер Пёмбельчук сунулся было тоже, но она удержали его калиткой.

— Разве вы желаете видеть мисс Гавишам? — сказала она.

— Разумеется, если мисс Гавишам желает меня видеть, — сказал мистер Пёмбельчук, несколько смутившись.

— А вы видите, что нет, сказала молодая девушка.

Она произнесла это так решительно, что мистер Пёмбельчук не решился возражать, хотя чувствовал себя крайне-обиженным. Он строго взглянул на меня, словно я был причиною этого обидного случая, и удаляясь, сказал с очевидною укоризною:

— Мальчик! веди себя здесь так, чтоб поведение твое послужило к чести вскормивших тебя от руки.

Я был уверен, что он воротится и крикнет сквозь калитку, «и шестнадцать?» но, по счастью, он не возвращался.

Молодая девушка заперла калитку и перешла

двор. Двор был чист и вымощен, но в промежутках между камней пробивалась травка. Деревянные ворота пивоварни выходили на двор; они были открыты настежь, и все остальные окна и двери в ней были растворены. Все было пусто и заброшено, насколько можно было видеть, вплоть до белой ограды. Холодный ветер, казалось, дул здесь сильнее, чем снаружи; он с каким-то завываньем входил и выходил в окна и двери винокурни, как гудит он на море между снастями корабля.



Молодая девушка заметила, куда я смотрел, и сказала:

— Ты бы мог, мальчик, без вреда выпить все

крепкое пиво, что тут варится.

— Я думаю, что так, мисс, — сказал я застенчиво.

— Лучше бы и не пробовать варить тут пива, мальчик, кисло выйдет — не так ли?

— Похоже на то, мисс.

— Не то, чтоб кто-нибудь в самом деле затевал варить пиво на этой пивоварне, — прибавила она: — дело порешенное, она простоит пустою, пока не завалится. Что касается до крепкого пива, то его и без того в подвалах довольно, чтоб затопить Манор-Гоус.

— Так зовут этот дом, мисс?

— Да, это одно из его названий, мальчик.

— Так у него несколько названий, мисс?

— Всего два. Другое название было Сатис, слово греческое, латинское или еврейское — по мне все одно — значит: довольно.

— Довольно, это странное название для дома, мисс.

— Да, — отвечала она: — но оно имело свой смысл; оно значило, что тот, кто владеет этим домом, более ни в чем не нуждается. Видно, они не очень-то были требовательны в те времена. Но, полно валандать, мальчик.

Хотя она часто называла меня мальчиком, и то с каким-то пренебрежением, довольно обидным для моего самолюбия, однако была мне ровесницею,

или немного старше меня. Но на взгляд, как девушка, она казалась гораздо старше меня; хорошенькая собой и самоуверенная, она обращалась со мною с величайшим пренебрежением: иной бы сказал, ей двадцать два года и притом она королева.

Мы вошли в дом боковою дверью; главный подъезд был загорожен снаружи двумя цепями. При входе, первая вещь, поразившая меня, была темнота, царствовавшая в коридорах. Молодая девушка, выходя к нам, оставила там свечу; теперь она подняла ее с пола и мы прошли еще несколько коридоров, поднялись по лестнице, и все это в темноте, при единственном свете нашей свечи.

Наконец, мы подошли в двери, и молодая девушка сказала:

— Войди.

Я отвечал более из застенчивости, чем из вежливости:

— За вами, мисс?

На что она ответила:

— Как ты смешон, мальчик! я не войду.

При этом она с презрением отвернулась и ушла и, что хуже всего, унесла с собою свечу.

Это было очень неприятное обстоятельство, и я почти что испугался. Впрочем, ничего не оставалось делать, как постучаться в дверь. Постучав, я получил приглашение войти. Я вошел и

очутился в довольно большой комнате, хорошо освещенной восковыми свечами. Ни одна щелка не пропускала дневного света. То была уборная, как мне казалось, судя по мебели, хотя я не знал в точности, на что могла служить большая часть ее. Самая выдающаяся мебель был обвешенный стол с позолоченным зеркалом. Я тотчас догадался, что это должен быть уборный столик важной барыни.

Не сумею сказать, так ли бы я скоро дошел до такого умозаключения, если б перед столиком в то время не сидела барыня. Опершись локтем на стол и поддерживая голову рукою, сидела передо мною на кресле самая странная барыня, какую я когда-либо видел или увижу.

На ней было роскошное платье — шелк, атлас, кружева и все белое. Даже башмаки были белые. На голове у нее была длинная белая фата, а в волосах подвенечные цветы, но и самые волосы были белые. Несколько драгоценных камней блестели у нее на шее и на руках, а еще более лежало на столе. Платья, менее богатые, чем надетое на ней, и полууложенные ящики валялись по сторонам. Она, как видно, не совсем еще оделась, у нее был надет только один башмак, другой лежал вблизи; фата была не совсем приколата, часы с цепочкой лежали на столе, вместе с кружевами, носовым платком, перчатками, цветами и молитвенником, все в одной куче, близь зеркала.

Я не сразу разглядел все эти подробности, хотя с первого взгляда увидел более, чем можно было ожидать. Я заметил, что все некогда белое уже давно потеряло свой блеск, поблекло и пожелтело. Я увидел, что и сама невеста поблекла, как подвенечное платье и цветы, и не имела уже другого блеска, кроме блеска впалых глаз. Я понял, что платье, теперь висевшее как тряпка и прикрывавшее кости и кожу бывшей красавицы, было кроено по округленным формам молодой женщины. Однажды мне показывали на ярмарке какую-то страшную восковую фигуру, изображавшую неизвестно чью отчаянную личность. Другой раз меня водили в одну из церквей на наших болотах, чтоб посмотреть на найденный под сводами церкви скелет, покрытый богатою, рассыпавшеюся в прах, одеждою. Теперь мне показалось, что у восковой фигуры и у скелета были темные глаза, которые двигались и смотрели на меня. Я бы вскрикнул, если б мог.

— Кто там? — сказала барыня, сидевшая у стола.

— Пип, сударыня.

— Пип?

— Мальчик от мистера Пёмбельчука, сударыня. Пришел забавлять вас.

— Подойди, дай взглянуть на тебя; стань поближе.

Только стоя подле нее и стараясь избегать ее взоров, я успел рассмотреть в подробности окружавшие ее предметы. Я заметил, что часы ее остановились на девяти без двадцати минут, и стенные часы также стояли на девяти без двадцати минут.

— Взгляни на меня, — сказала мисс Гавишам. — Ты не боишься женщины, невидавшей солнца с тех пор, как ты на свете?

К сожалению, я должен признаться, что не побоялся соврать самым наглым образом, ответив: «нет».

— Знаешь ли, что у меня тут? — сказала она, складывая обе руки на левой стороне груди.

— Знаю, сударыня.

При этом я вспомнил молодчика, которым пугал меня каторжник.

— Что тут?

— Ваше сердце.

— Разбитое!

Мисс Гавишам произнесла это слово с каким-то странигиме выражением и роковою улыбкой, будто хвастаясь этим. Она несколько времени держала руки в том же положении, потом медленно опустила их, точно ей было тяжело их поддерживать.

— Я устала, — сказала мисс Гавишам. — Мне нужно развлечение; я покончила и с мужчинами, и

с женщинами. Ну, представляй!

Я уверен, что каждый из моих читателей, будь он самый отчаянный спорщик, согласится со мною, что страшная барыня не могла ничего придумать менее удобоисполнимого при подобной обстановке.

— На меня находят иногда болезненные фантазии, — продолжала она: — теперь у меня болезненное желание видеть представление. Ну, ну! — и она стала судорожно ворочать пальцами: — представляй, представляй!

На минуту мне пришла в голову отчаянная мысль прокатиться кубарем вокруг комнаты, подражая одноколке мистера Пёмбельчука. Но тотчас же, несмотря на грозный призрак сестры (постоянно живой в моем воображении), я должен был внутренне сознаться, что не подготовлен нравственно для столь трудного представления. Лицо мое имело, как видно, не очень приятное выражение, пока мы смотрели друг на друга, потому что, вдоволь наглядевшись на меня, мисс Гавишам сказала:

— Что ты дуешься или упрямишься?

— Нет, сударыня, мне очень жалко вас, и жалко, что я не могу представлять в эту минуту. Если вы пожалуетесь на меня, то мне достанется от сестры; потому я бы представлял, если б мог; но тут мне все так ново, так странно, так незнакомо и грустно.

Я остановился, боясь, что скажу, или, уже сказал лишнее; мы опять стали смотреть друг на друга.

Прежде чем заговорить снова, мисс Гавишам взглянула на свое платье, на уборный столик и, наконец, на себя в зеркало.

— Так ново для него, — пробормотала она: — и так старо для меня; так странно для него и так обыкновенно для меня; так грустно для нас обоих! Позови Эстеллу.

Она все еще смотрела на свое изображение; я полагал, что она продолжает говорить сама с собой, и не трогался с места.

— Позови Эстеллу, — повторила она, быстро взглянув на меня; — или ты и того сделать не можешь? Позови Эстеллу. У двери.

Стоять в темном, таинственном коридоре незнакомого дома и кликать по имени гордую, молодую барышню, которой не было ни видно, ни слышно, стоило, в своем роде, представления на заказ, тем более, что я очень ясно сознавал, что кричать таким образом: «Эстелла!» на весь дом, было крайне непозволительною вольностью. Наконец она отозвалась, и свеча ее показалась, как звездочка, в конце темного коридора.

Мисс Гавишам позвала ее к себе и надела ей ожерелье из драгоценных камней сперва на белую ее шейку, потом на каштановую головку.

— Это твоя собственность, моя милая, оно хорошо тебе пригодится. Сделай мне удовольствие, поиграй в карты с этим мальчиком.

— С этим мальчиком? Да, ведь, это просто мужицкий мальчишка!

Мне показалось — но это было бы слишком странно — что мисс Гавишам сказала, «ну, ты сокрушишь ему сердце».

— Во что ты играешь, мальчик? — спросила у меня Эстелла с величайшим презрением.

— Только в дурачки, мисс.

— Оставь его в дураках, — сказала мисс Гавишам.

Мы уселись играть в карты.

Тогда только я заметил, что все в комнате давным давно остановилось вместе с часами. Я заметил, что мисс Гавишам положила ожерелье на столик на то же место, откуда взяла его. Пока Эстелла сдавала, я опять взглянул на столик и приметил, что некогда белый, теперь пожелтевший башмак был не надеван. Я опустил глаза и увидел, что на необутой ноге был чулок, некогда белый, теперь пожелтевший, истоптанный в лохмотья, и поблекшее подвенечное платье не напоминало бы так саван, а фата смертную пелену, если бы не этот застой и неподвижность кругом.

Мисс Гавишам, пока мы играли, сидела, как труп, в своем белом платье с отделкою будто из

бумажного пепла. Я в то время не слышал еще о давно похороненных телах, которые рассыпаются в прах в ту минуту, когда до них коснутся; с тех пор мне часто приходила в голову мысль, что от прикосновения солнечного луча, и она рассыпалась бы в прах.

— Он валета зовет хлапом, этот мальчишка! — презрительно сказала Эстелла прежде, чем мы кончили первую игру. «И что у него за грубые руки! И что за толстые сапоги!»

Мне прежде никогда не приходило в голову стыдиться своих рук, но теперь я начал считать их самую неприличную парюю, ее презрение было так сильно, что заразило и меня.

Она выиграла, и я стал сдавать, но засдался, как и легко было ожидать, когда она высматривала, не ошибусь ли я: она тотчас объявила, что я неловкий, мужицкий мальчишка.

— Ты ничего о ней не говоришь, — заметила мне мисс Гавишам, следя за нами. — Она столько неприятностей наговорила тебе, а ты о ней ничего не говоришь. Что ты о ней думаешь?

— Я бы не хотел сказать, — запинаясь, промолвил я.

— Скажи мне на ухо, — произнесла мисс Гавишам, нагнувшись.

— Я думаю, что она очень горда, — сказал я шепотом.

— А еще что?

— И что она очень хорошенькая.

— А еще что.

— И очень дерзка. (Эстелла в ту минуту смотрела на меня с величайшим отвращением).

— А еще что?

— Я бы желал идти домой...

— И более никогда не видать ее, не смотря на то, что она такая хорошенькая?

— Я этого не говорю; а только желал бы идти домой теперь.

— Ты скоро уйдешь, — сказала мисс Гавишам. — Кончай игру.

Если б не роковая улыбка вначале, я был бы уверен, что она не в состоянии улыбнуться. Голова ее опустилась и лицо получило унылое, сонное выражение; вероятно, с того дня, когда все вокруг остановилось, казалось, ничто не в силах было оживить его. Грудь ее опустилась, ввалилась, так что она сидела сгорбившись; голос ее опустился так низко, она говорила тихо, с каким-то предсмертным хрипеньем; вообще вся она, казалось, опустилась душой и телом, будто подавленная каким-то тяжким ударом.

Мы доиграли игру, и Эстелла опять оставила меня дураком. Но, несмотря на то, что она выиграла все игры, она с неудовольствием бросила карты на стол, будто гнушаясь тем, что выиграла их у меня.

— Когда бы тебе снова придти? — сказала Мисс Гавишам: — дай я подумаю.

Я хотел было ей напомнить, что был четверг, но она остановила меня тем же нетерпеливым движением пальцев правой руки.

— Ну, ну! Я ничего не знаю о днях недели, ничего не знаю о месяцах в году. Приходи чрез шесть дней — слышишь ли?

— Слушаю, сударыня.

— Эстелла, проводи его вниз. Дай ему чего-нибудь поесть и пускай себе погуляет и ознакомится с местом, пока ест. Иди, Пип,

Я, как взошел, так и сошел вниз вслед за свечкою Эстеллы. Она поставила ее на то же место, где мы нашли ее при входе. Прежде чем она отворила боковую дверь, я как-то бессознательно был убежден, что уже ночь на дворе. Внезапный поток дневного света совершенно смутил меня, мне показалось, что я несколько часов пробыл в темноте.

— Дождись меня тут, мальчик, — сказала Эстелла и, закрыв за собою дверь, исчезла.

Я воспользовался тем, что остался наедине, чтоб осмотреть свои грубые руки и толстые сапоги. Я решился непременно спросить Джо, зачем он научил меня звать хлапом карту, которой настоящее имя валет, и очень жалел, что Джо был так плохо воспитан, иначе и я получил бы лучшее

воспитание.

Эстелла возвратилась с хлебом и мясом и небольшою кружкою пива. Она поставила кружку на камень на дворе и сунула мне хлеб и мясо, не глядя на меня, словно собаке в опале. Я был так обижен, оскорблен, рассержен, уничтожен... не приищу настоящего названия моему жалкому состоянию; одному Богу известна вся горечь, наполнявшая мою душу. Слезы брызнули у меня из глаз. Заметив мои слезы, она бросила на меня довольный взгляд, будто радуясь тому, что причинила их. Это дало мне силу удержать слезы и взглянуть на нее: она презрительно кивнула головой с выражением, как мне показалось, что ее не надуешь, что она слишком хорошо знает, кто виновник моего горя, отвернулась и ушла.

Но как скоро она удалилась, я зашел за дверь у входа в пивоварню и, прислонясь к ней, заплакал, закрыв лицо руками. Горько плача, я лягал ногою стену и даже сильно рванул себя за волосы; чувства, которым нет имени переполняли такую горечью мое сердце, что им необходимо было излиться наружу, хотя бы и на бездушные предметы.

Сестрино воспитание сделало меня чувствительным. В маленьком, детском мире несправедливость, от кого бы она ни проистекала, сознается и чувствуется сильнее, чем в позднейшие

годы. Ребенок может испытывать только маленькие несправедливости: и сам ребенок мал, мал и доступный ему мир; но в его маленькой лошади-качалке столько же вершков, по его детскому масштабу, как в любом кирасирском коне, по нашему. С самого младенчества я внутренне боролся с несправедливостью. Начиная лепетать, я уже сознавал, что сестра моя неправа в своих причудливых, насильственных требованиях. Я всегда глубоко сознавал, что, выкормив меня рукою, она не имела никакого права воспитывать меня пинками. Убеждение это не оставляло меня во время всех наказаний, — постов и лишений, которым я подвергался. Постоянному, одинокому общению с этою мыслью я, вероятно, обязан застенчивостью и раздражительною чувствительностью своего характера.

Я немного облегчил настоящее свое горе, налягавшись в стену пивоварни и подрав себе волосы; после чего я утер лицо рукавом и вышел из-за двери. Хлеб и мясо подкрепили меня, а пиво даже несколько развеселило, так что я вскоре был в состоянии ближе познакомиться с местностью.

Место было в самом деле пустынное, заброшенное, от самого дома и до покосившейся голубятни на дворе пивоварни; если б в ней еще водились голуби, они непременно получили бы морскую болезнь — так качало ветром их жилище.

Но не было ни голубей в голубятне, ни лошадей в конюшне, ни свиней в свинушнике, ни солоду в кладовой; не было даже духа зерна или браги в заторном и бродильном чанах; запах пива будто улетел с последним затором. На соседнем дворе валялись целые груды пустых рассыпавшихся бочек, сохранявших какое-то кислое воспоминание о прежних, лучших днях, но от них несло слишком кисло, чтоб напомнить утраченную жизненную влагу, что, впрочем, составляет участь и не одних бочек, отказавшихся от жизненной деятельности.

За дальним углом пивоварни виднелся сад из-за старой, каменной ограды, не очень высокой, так что я мог взобраться на нее и разглядеть, что там делалось. Я убедился, что сад этот принадлежит к дому и весь зарос бурьяном; впрочем, виднелось несколько тропинок, как будто там кто-то гулял по временам. Действительно, я вскоре заметил в саду Эстеллу, удалявшуюся от ограды. Она была, просто, вездесуща. Когда на дворе пивоварни, за несколько минут пред тем, я поддался соблазну и стал ходить по бочкам, то ясно видел, что и она на другом конце двора ходила по ним, поддерживая рукою свои чудные каштановые волосы, но тотчас же скрылась из моих глаз. Я также видел ее в пивоварне, то есть в высоком, просторном здании, где когда-то варилось пиво, и еще не прибрана была посуда. Когда я только что вошел в него и стоял у

дверей, пораженный его унылым видом, я видел, как она прошла между давно погасшими топками и взошла по чугунной лестнице на хоры, как будто взбираясь под небеса.

В ту минуту воображению моему представилась странная вещь. Явление это показалось мне непостижимым и тогда, и долгое время спустя, устав смотреть на безжизненно-освещенную половину пивоварни, я взглянул на толстое бревно, торчавшее из темного угла, направо от меня: на нем висела повешенная женщина, одетая в пожелтевшее белое платье, отделанное бумажным пеплом, с одним башмаком на ноге. Она висела так, что я мог разглядеть лицо ее: то было лицо мисс Гавишам и его судорожно подергивало, будто она хотела что-то сказать мне. Припомнив, что, за минуту пред тем, в углу ничего не было, я, в страхе, было бросился бежать, но потом оглянулся — к великому моему ужасу, видение исчезло.

Только при виде ясного неба и народа на улице за решеткой, я пришел в себя, при подкрепительном содействии мяса и пива. Но и тут я очнулся бы не так скоро, если б не Эстелла, которая подошла с ключами, чтоб выпустить меня. Она могла бы презрительно посмотреть на меня, заметив мой испуг; а поводы к тому я дать ей не хотел.

Эстелла мимоходом торжественно взглянула на меня, будто радуясь тому, что у меня грубые руки и толстые сапоги. Она отперла калитку и стала подле нее. Я намеревался пройти, не взглянув на нее, но она дернула меня за рукав.

— Зачем же ты не ревешь?

— Потому что не хочу.

— Врешь, хочешь, сказала — она: — ты наплакался до того, что глаза припухли, и теперь бы не прочь приняться за то же.

Она презрительно засмеялась, выпихнула меня за калитку и заперла ее. Я прямо пошел к мистеру Пёмбельчуку и был очень доволен, не застав его дома. Я попросил сообщить ему о дне, когда мне приказано было возвратиться к мисс Гавишам, и пустился в обратный путь домой, в кузницу. Идучи, я размышлял обо всем виденном и горько сожалел о том, что у меня руки, грубые, сапоги толстые, да еще, вдобавок, привычка называть валета хлапом; вообще, я дошел до убеждения, что я гораздо более невежда, чем воображал себе накануне, и нахожусь, вообще, в самом скверном, безотрадном положении в свете.

IX

Когда я вернулся домой, сестра моя с большим любопытством стала спрашивать меня

о мисс Гавишам. На все ее вопросы я отвечал коротко и неудовлетворительно, и потому в скором времени на меня посыпались толчки и пинки со всех сторон то в шею, то в спину, и кончилось тем, что я ударился лбом в стену.

Если страх быть непонятым так же глубоко затаен в груди вообще у всей молодёжи, как он был у меня — что я полагаю весьма возможным, не имея особых причин считать себя нравственным уродом, или исключением — то этот страх может служить объяснением скрытности в юных летах. Я был вполне уверен, что, опиши я мисс Гавишам в таком виде, как она представлялась моим глазам, меня бы никто не понял. Даже более того, мне казалось, что сама мисс Гавишам не в состоянии была бы понять; и хотя я сам ее не понимал, но чувствовал невольно, что с моей стороны было бы предательством выставить ее такою, какою она была на самом деле, на суд мистрис Джо (об Эстелле уж я и не говорю). Вот почему я старался говорить как можно менее, вследствие чего и ударился лбом об стену в нашей кухне. Хуже всего было то, что старый хрен Пёмбельчук, горевший нетерпением знать все, что я видел и слышал, прикатил в своей одноколке к чаю... При одном виде своего мучителя, с рыбьими глазами и вечно открытым ртом, с стоящими дыбом песочного цвета волосами и крепко накрахмаленным жилетом, я

стал еще упорнее в моем молчании.

— Ну, мальчик, — начал дядя Пёмбельчук, как только он уселся на почетном кресле, у огня: — как ты провел время в городе?

Я отвечал:

— Очень хорошо, дядюшка.

А сестра погрозила мне кулаком.

— Очень хорошо? — повторил мистер Пёмбельчук. — Очень хорошо — не ответ. Ты объясни нам, что ты хочешь сказать этим очень хорошо, мальчик?

Может быть, известка на лбу, действуя на мозг, усиливает упрямство. Как бы то ни было, с известкой от стены на лбу упрямство мое достигло твердости алмаза. Я подумал немного и потом отвечал, как будто вдруг нашел мысль:

— Я хочу сказать очень хорошо.

Сестра моя с нетерпеливым возгласом уже готова была на меня броситься.

Я не ожидал ни откуда помощи, потому что Джо был в кузнице.

Но мистер Пёмбельчук остановил ее.

— Нет, не горячитесь, предоставьте этого мальчика мне.

И, поворотив меня к себе, как будто он хотел стричь мне волосы, мистер Пёмбельчук продолжал.

— Во-первых (чтоб привести наши мысли в порядок), что составляют сорок три пенса?

Я хотел было отвечать «четыреста фунтов», но, рассчитав, что последствия такого ответа были бы чересчур неблагоприятны для меня, я отвечал возможно ближе, то есть с ошибкою пенсов на восемь. Тогда мистер Пёмбельчук заставил меня повторить всю таблицу, начиная от: «Двенадцать пенсов составляют один шиллинг» до «Сорок пенсов — три шиллинга и четыре пенса», тогда он торжественно спросил, как будто он мне помог:

— Ну, сколько же в сорока трех пенсах?

Я отвечал, хорошенько подумав:

— Не знаю.

И действительно, он мне до того надоел, что я почти что сам усомнился в своем знании.

Мистер Пёмбельчук всячески ломал себе голову, стараясь выжать из меня удовлетворительный ответ.

— Примерно, в сорока трех пенсах будет ли семь шиллингов, а в сикспенсе — три? — сказал он.

— Да, — отвечал я.

И хотя сестра тут же рванула меня за уши, но мне было чрезвычайно приятно, что, по милости моего ответа, шутка его вовсе не удалась. Он стал как вкопанный.

— Ну, на что похожа мисс Гавишам? — продолжал мистер Пёмбельчук, оправившись совершенно, плотно скрестив руки на груди и снова принимаясь за свою выжимательную систему.

— Очень высокая, черная женщина, — сказал я.

— Действительно ли так, дядюшка? — спросила сестра.

Мистер Пёмбельчук одобрительно кивнул головой, из чего я тут же заключил, что он никогда не видывал мисс Гавишам, потому что она нисколько не была похожа на мой портрет.

— Хорошо, — сказал мистер Пёмбельчук с важностью: — вот таким путем мы с ним справимся. Мы скоро все узнаем, сударыня.

— Я в этом уверена, дядюшка, — отвечала мистрис Джо: — я бы желала, чтоб он постоянно был при вас: вы так хорошо умеете с ним справляться.

— Ну, милый, что делала мисс Гавишам, когда ты к ней пришел? — спросил мистер Пёмбельчук.

— Она сидела, — отвечал я: — в черной бархатной карете.

Мистер Пёмбельчук и мистрис Джо с удивлением взглянули друг на друга, что было весьма натурально, и в один голос повторили:

— В черной бархатной карете?

— Да, — отвечал я: — а мисс Эстелла — это ее племянница, кажется — подавала ей пирожки и вино в окно кареты на золотой тарелке. И нас всех угощали пирожками и вином на золотых тарелках.

А я взлез на запятки, по ее приказанию, и ел там свою долю.

— Был там еще кто-нибудь? — спросил мистер Пёмбельчуг.

— Четыре собаки, — сказал я.

— Большие или маленькие?

— Огромные, — сказал я: — и они все дрались за телячьи котлеты, поданные им в серебряной корзинке.

Мистер Пёмбельчуг и мистрис Джо снова поглядели друг на друга в совершенном удивлении. Я врал, как сумасшедший, как бессовестный свидетель, подверженный пытке, как человек, которому решительно все равно, что он говорит.

— Где же стояла эта карета, скажи на милость? — спросила сестра.

— В комнате у мисс Гавишам (они опять взглянули друг на друга), но лошадей не было.

Я прибавил эту спасительную оговорку в ту минуту, когда воображение мое уже рисовало четверку богато убранных коней, которых я мысленно уже запрягал в черную карету.

— Возможно ли это, дядюшка? — спросила мистрис Джо. — Что он? этим хочет связать?

— Я вам объясню, сударыня, — сказал мистрис Пёмбельчуг: — по моему мнению, это должно быть подвижное кресло. Она, вы знаете, болезненная, очень болезненная, ее здоровье очень

расстроено, вот она и проводит свою жизнь на подвижном кресле.

— Что, вы видели ее когда-нибудь, дядюшка, в этом кресле? — спросила мистрис Джо.

— Как же я мог? — отвечал он, принужденный высказаться: — когда я ее никогда не видал? Ни разу не удалось взглянуть на нее.

— Господи Боже мой! дядюшка, да ведь, вы с ней говорили?

— Да разве вы не знаете, — сказал мистер Пёмбельчук вопросительно: — что когда я был там, меня только подвели к немного растворенным дверям, и она говорила со мной из другой комнаты. Не может быть, чтоб вы этого не знали, сударыня. Однако ж, мальчик ходил забавлять ее. Чем же ты забавлял ее?

— Мы играли флагами, — сказал я.

Прошу заметить, что я с ужасом припоминаю все лжи, которые придумывал при этом случае.

— Флагами! — повторила моя сестра.

— Да, — отвечал я: — Эстелла махала голубым флагом, я красным, а мисс Гавишам махала из окна кареты флагом с золотыми звездами. А потом мы все начали махать нашими саблями и кричать «ура!»

— Саблями! — повторила сестра: — откуда вы достали сабли?

— Из шкафа, — сказал я: — я в нем видел

пистолеты, и варенье, и пилюли. И в комнате, где мы были, не было дневного света, а везде были зажжены свечи.

— Это правда, сударыня, — заметил мистер Пёмбельчук, серьёзно кивнув головой: — это действительно так и есть, на столько и я сам мог видеть. — После этого они оба вперили глаза свои в меня, а я, с принужденным выражением простодушия на лице, уставился на них, расправляя правой рукой свои панталоны.

Если б они продолжали меня расспрашивать, я бы, без всякого сомнения, проговорился, потому что в ту минуту я уже готов был рассказывать про воздушный шар, виденный мною на дворе; и наверно рассказал бы про него, если б меня не взяло сомнение: кому дать преимущество: воздушному ли шару, или медведю на пивоварне. Впрочем, они так были заняты пересудами о тех чудесах, которые я им уже наговорил, что я предпочел дать тягу, видя, что на меня не обращают внимания. Однако, когда Джо вернулся с работы, чтоб выпить чашку чаю, разговор их еще вертелся на том же предмете, и моя сестра, более для успокоения совести, нежели из желания сделать удовольствие Джо, рассказала ему сполна все вымышленные мною похождения.

Когда я увидел, как Джо выпучил голубые глаза свои и, в совершенном недоумении, стал ими

водить по стенам кухни, меня взяло раскаянье, но только в отношении к Джо, а не к остальным двум. В отношении к Джо, одному Джо, я чувствовал себя маленьким чудовищем в то время, как они сидели и рассуждали о последствиях моего знакомства с мисс Гавишам и ее милостивого ко мне внимания. Они были уверены, что мисс Гавишам «что-нибудь сделает» для меня, и только высказывали сомнение касательно того, в чем именно будет состоять это «что-нибудь». По мнению сестры, это будет «имение»; мистер Пёмбельчук предсказывал приличное денежное вознаграждение, с целью приготовить меня ж какой-нибудь благородной торговой деятельности, например, к торговле хлебом и семенами. Бедному Джо сильно досталось от обоих за то, что он вздумал сказать, что, всего вероятнее, мне подарят одну из собак, которые дрались за телячьи котлеты.

— Если твоя глупая башка не может ничего лучше выдумать, так ты бы лучше пошел за свою работу, да кончил ее. — Джо встал и поплелся вон из комнаты. Когда мистер Пёмбельчук распростился и уехал, а сестра начала мыть и убирать посуду, я тихонько пробрался к Джо на кузницу и выжидал там, покуда он кончил свою дневную работу.

— Прежде чем огонь совсем потухнет, мне бы хотелось с тобой поговорить Джо, — сказал я.

— Неужели, Пип? — сказал Джо, подвигая свою скамью ближе к печи. — Ну-ка расскажи, в чем дело, Пип?

— Джо, — начал я, взяв его за засученный рукав рубахи и дергая его: — помнишь ли ты все, что говорил я о мисс Гавишам?

— Помню ли я? — сказал Джо — ещё бы! я тебе верю, это удивительно!

— Это ужасно, Джо! ведь это все не правда.

— Что ты это говоришь, Пип! — вскрикнул Джо, отшатнувшись назад в крайнем удивлении: — ты хочешь сказать, что это...

— Да, да, это все ложь, Джо.

— Да не все же, однако ж? Вероятно, ты не хочешь же этим сказать, Пип, что не было черной бархатной кареты?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну, по крайней мере, были собаки, Пип. Послушай, Пип, — уговаривал Джо: — если там не было телячьих котлет, все же были собаки.

— Нет, Джо, и собак не было.

— Так одна собака? — сказал Джо. — Щенок, может быть — не так ли?

— Нет, Джо, ничего подобного не было.

И я устремил безнадежный взгляд на Джо, который в смущении глядел на меня.

— Пип, братец ты мой, это нехорошо, приятель, я тебе скажу. Что ж ты думаешь, в самом

деле, куда это тебя приведет?

— Это ужасно Джо, не правда ли?

— Это ужасно! — вскричал Джо: — Скверно! Какой черт тебя попутал?

— Я и сам не знаю, Джо, — отвечал я, выпуская из рук рукав его рубашки и потупив голову: — и зачем ты меня выучил в картах называть валета хлапом, и зачем у меня такие толстые сапоги и такие шершавые руки?

Тогда я признался Джо, что мне было очень грустно и что я не мог этого объяснить мистрис Джо и мистер Пёмбельчуку, потому что они со мной всегда так грубо обходятся. Что у мисс Гавишам и видел прелестную молодую девушку, ужасно гордую, которая нашла, что я очень дурно воспитан. Я Бог знает что дал бы, сказал я, чтоб не быть таким невеждой, и все это как-то довело меня до лжи — я и сам не знаю как.

Это был вопрос метафизический, которого ни Джо, ни я не в состоянии были разрешить. Однако ж Джо, не входя в пределы метафизики, взялся за него с другой точки зрения и таким образом одолел его.

— Ты заметь только одно, Пип, — сказал Джо, немного подумав; — что ложь всегда остается ложью, какие бы ни были на то причины. Ложь от дьявола и ведет к нему же. Не говори более неправды, Пип. Ты от этого не будешь лучше

воспитан, приятель; я не совсем это хорошо понимаю, но мне кажется, что в некоторых, вещах ты очень далеко ушел. Для твоих лет ты необыкновенно учен.

— Нет, я невежда, Джо, я далеко отстал от других.

— Ну, а помнишь то письмо, которое ты написал вчера — написал словно напечатал. Видали мы письма и благородных людей, а побожусь, что и те не были написаны по печатному, — сказал Джо.

— Я пришел к тому убеждению, что вовсе ничего не знаю; Джо, ты слишком много обо мне думаешь — вот что!

— Ну, Пип, — сказал Джо: — будь это так, или иначе, а нужно сперва быть обыкновенным ученым, прежде чем сделаться необыкновенным — вот мое мнение! И король, сидя на своем троне, с короной на голове, не мог бы писать указы парламенту, не выучившись азбуке, будучи принцем — да! — прибавил Джо, значительно покачав головою: — и начав с А, должен был пробраться до Z. А я знаю, чего это стоит, хоть не могу похвастать, чтоб я сам прошел весь этот мудреный путь.

В этом рассуждении просвечивала некоторая надежда и она немного ободрила меня.

— А по-моему, простым людям, значит, ремесленникам и работникам, — продолжал в

раздумье Джо: — гораздо лучше знаться с своих братом, нежели ходить забавляться с людьми высшего сословия. Это мне напоминает, что, может быть, флаги-то были?...

— Нет, Джо, и их не было.

— Гм! жалко мне, что флагов-то не было, Пип. Ну, как бы то ни было, этого дела поправить нельзя, не выводя сестру твою на сцену, чего Боже упаси! Забудем об этом. Ведь, ты все это говорил без дурного намерения. Только слушай, Пип, это тебе говорит истинный друг. Вот что он тебе скажет, истинный-то друг: если ты хочешь сделаться порядочным человеком, иди прямой дорогой к цели; кривым путем ты никогда не достигнешь ее. Так, смотри же, Пип, не лги более, и будешь себе жить счастливо и умрешь спокойно.

— Ты на меня не сердись, Джо?

— Нет, дружище. Но, Пип, иди спать. Подумай еще хорошенько о своем ужасном нахальстве, о телячьих котлетах, о собачьей драке. Нет, Пип, послушайся доброго совета, подумай об этом хорошенько и смотри, больше никогда этого не делай!

Когда я пошел спать и помолился, то вспомнил совет Джо; но я был так расстроен, что мне в голову ничего не приходило кроме Эстеллы, и каким бы простаком она сочла Джо, простого кузнеца! какими грубыми показались бы ей его

руки и сапоги!

Я думал, что вот Джо и сестра сидят еще в кухне, и я только что пришел из кухни, а мисс Гавишам и Эстелла никогда не сидят на кухне. Наконец я уснул, вспоминая все, что я «говорил» у мисс Гавишам, как будто я у ней бывал целыми неделями и месяцами, а не часами, как будто это мне было так старо и давно знакомо.

Этот день был памятный в моей жизни, ибо с этого дня я совершенно изменился. Но это бывает и с каждым человеком. Вообразите себе, чтоб из вашей жизни можно было вычеркнуть незаметно один какой-нибудь памятный день и подумайте, как бы это изменило всю вашу жизнь?

Остановись, читатель, и подумай на минуту о той длинной-длинной цепи железной, золотой, из терний или цветов, которая никогда бы тебя не связывала, если б в один памятный тебе день не образовалось первое ее звено.

Х

День или два спустя, проснувшись утром, я был поражен светлою мыслью, что лучшим для меня средством отличиться было — выведать от Бидди все, что она знала. Решившись на это, я намекнул Бидди, когда пошел вечером к тётке мастера Уопсея, что я имел особае причины

желать успеха в жизни, и потому был бы весьма обязан ей, если б она передала мне все свои познания. Бидди, девушка в высшей степени обязательная, тотчас согласилась и, действительно, чрез пять минут, уже приступила к исполнению своего обещания.

Вся программа воспитания, или весь курс учения у тётки мистера Уопсея заключалась в следующем: воспитанники объедались яблоками и запускали друг другу соломинки за шею до тех пор, пока тётка мистера Уопсея, призвав на помощь всю свою энергию, бросалась на них с розгою. Выдержав насмешливо это нападение, воспитанники выстраивались в ряд и, шепчась между собою, передавали из рук в руки изодранную книгу. Книга эта заключала в себе азбуку с картинками и таблицами или, лучше сказать, она некогда заключала в себе все это. Как только книга эта начинала переходить из рук в руки, тётка мистера Уопсея погружалась в род спячки, происходившей от сна, или припадка ревматизма. Тогда воспитанники обращали все внимание на свои сапоги, стараясь наперерыв оттоптать друг другу ноги. Подобное умственное упражнение продолжалось до тех пор, пока появлялась Бидди и раздавала нам три засаленные библии, которые имели вид каких-то обрубков. Эти библии были даже в самых ясных местах менее четки, нежели все

библиографические редкости, виденные мною с тех пор; они были покрыты кругом ржавыми пятнами и представляли на своих листах раздавленные образцы всевозможных насекомых. Эта часть курса обыкновенно ознаменовывалась не одним поединком между Бидди и непокорными учениками. Когда драка прекращалась, Бидди назначала нам страницу, и мы все страшным хором читали вслух, кто как умел, или не умел; Бидди же предводительствовала нами, читая высоким однозвучным пронзительным голосом. Никто из нас ни мало не уважал и даже не понимал читаемого текста. Чрез несколько времени этот странный гам пробуждал тётку мистера Уопсея, которая, набросившись на одного из мальчиков, драла его немилосердно за уши, что служило намёком на окончание классов, и мы выбегали на двор с криками радости, будто торжествуя новую умственную победу. Нужно заметить, что ученикам не запрещалось употребление аспидных досок или даже чернил, если таковые имелись; но нелегко было предаваться этой отрасли учения зимой, по причине тесноты лавочки, и которая в то же время была классною комнатою, гостиною и спальнею для мистера Уопсея, к тому же лавочка эта слабо освещалась одною погоревшей, моканой свечою. Мне казалось, что при таких обстоятельствах нескоро можно сделаться недюжинным человеком;

тем не менее я решился попытать счастье, и в тот же вечер Бидди начала приводить в исполнение наш уговор. Она сообщала мне некоторые сведения из своего маленького прейскуранта по части подмоченного сахара и дала мне с тем, чтоб я списал ее дома, большую английскую букву D, заимствованную из заголовка какой-то газеты. До тех пор, пока она мне не объясняла в чем дело, я принимал эту букву за пряжку.

Само собою разумеется, что в нашей деревне была харчевня и что Джо любил иной раз выкурить там трубочку. Я получил от сестры наистрожайшее приказание в этот вечер, на возвратном пути из школы, зайти за ним в харчевню «Лихих бурлаков» и привести его домой, во что бы то ни стало. Потому, по выходе из школы, я направился к «Лихим бурлакам».

На стене харчевни, близь двери, находилась большая доска, на которой намечены были мелом бесконечно длинные черточки, которые, по-видимому, никогда не стирались — не уплачивались. Эти черточки, сколько я могу упомнить, существовали издавна и росли скорее меня. Впрочем, в нашей стране была бездна мелу и, быть может, жители не упускали случая употребить его в дело.

Была суббота, и потому, войдя в харчевню, я увидел, что трактирщик глядел несколько

недоброжелательно на эти отметки; но мне до трактирщика дела не было, и пожелав ему доброго вечера, я пошел в общую комнату, в конце коридора, искать Джо. Огонь пылал там весело и Джо покуривал свою трубку, в обществе мистера Уопсея и какого-то незнакомца. Джо по своему обыкновению приветствовал меня словами: «Ага, Пип, старый дружище!» Когда он сказал это, незнакомец повернул голову и взглянул на меня. Он имел какой-то таинственный вид, и я прежде никогда не видал его. Он сидел с наклоненною головою, щурил один глаз, как будто целился невидимым ружьем. В руках у него была трубка; он вынул ее и, потихоньку выпуская изо рта дым, пристально глядел на меня; наконец, он кивнул мне головой, я кивнул ему в ответ, и тогда он очистил мне место на скамье, подле себя. Но я привык садиться подле Джо, когда бывал в этом веселом заведении, и потому, сказав: «нет, благодарю вас, сэр», я поместился около Джо на противоположной скамье. Незнакомец, бросив беглый взгляд на Джо и убедившись, что тот не смотрел на него, сделал мне знак головой и как-то странно потер свою ногу; это поразило меня.

— Вы говорили, — сказал он, обращаясь к Джо: — что вы кузнец.

— Да, — ответил Джо.

— Чем прикажете вас угостить, мистер?.. Вы,

между прочим, не сказали своего имени.

Джо назвал себя, и незнакомец повторил его имя.

— Что б нам выпить, мистер Гарджери? Конечно, на мой счет.

— Сказать вам правду, я не привык пить на чужой счет.

— Не привыкли? Ну, да раз, в кои-то веки, да притом же в субботу вечером. Говорите скорее, чего же?

— Я не хочу быть нелюбезным собеседником, — сказал Джо. — Давайте хоть рому.

— Рому, — повторил незнакомец. — А что скажет этот господин?

— Рому! — сказал мистер Уопсель.

— Рому на троих! — крикнул незнакомец трактирщику: — и подайте стаканы!

— Этот господин, — сказал Джо, с намерением отрекомендовать мистера Уопсея: — наш дьячок.

— Ага! — произнес незнакомец скороговоркой, устремив свой взгляд на меня: — в той уединенной церкви на болоте, окруженной гробницами?

— В той самой, — сказал Джо.

Незнакомец с видом наслаждения, пробормотав что-то себе под нос, протянул ноги на

скамье, которую он занимал один. На нем была дорожная шляпа с широкими, отвислыми полями, а под ней носовой платок, повязанный вокруг головы наподобие чепца, так что не было видно волос. Когда он смотрел на огонь, мне казалось, что лукавая полуулыбка озаряла его лицо.

— Я незнаком с вашими местами, господа; но мне кажется, страна здесь очень дикая, в особенности к реке.

— Болота большей частью пустынные, — возразил Джо.

— Конечно, конечно! Что, попадаются вам цыгане, или другие какие бродяги?

— Нет, — сказал Джо. — Разве изредка беглый каторжник, и отыскать их нелегко. Не правда ли, мистер Уопсель?

Мистер Уопсель, вспомнив, как он бедствовал, согласился, но без большего сочувствия.

— А разве вам приходилось отыскивать беглецов? — спросил незнакомец.

— Как-то раз, — ответил Джо. — Не то, чтоб мы сами ловили их — вы понимаете; мы пошли только в качестве зрителей: я, мистер Уопсель и Пип. Помнишь, Пип?

— Как же, Джо.

Незнакомец снова взглянул на меня, по-прежнему, прищурился одним глазом, как будто он

целился в меня своим невидимом ружьем.

— Как вы его назвали? — спросил он.

— Пип, — отвечал Джо.

— Крещен Пипом?

— Нет.

— Ну, так кличка, что ли?

— Нет, — сказал Джо: — это род прозвища, которое он дал себе, будучи ребенком, его и пошли так звать.

— Он ваш сын?

— Нет, — сказал Джо, задумчиво, не потому, конечно, что ему приходилось обдумывать свой ответ, а потому, что в этом трактире было принято глубокомысленно обдумывать все, что говорилось за трубкой. — Нет, он мне не сын.

— Так племянник? — сказал незнакомец.

— Нет, — сказал Джо, с тем же глубокомысленным видом: — Я не стану обманывать вас: он мне и не племянник.

— Ну, так, что же он такое, ради самого черта? — спросил незнакомец.

Это выражение показалось мне сильнее, нежели требовалось.

Тут мистер Уопсель ухватился за этот вопрос, как человек, знающий вообще всю подноготную родства в деревне; он по своей должности обязан был — иметь в виду степень родства при совершении браков. Мистер Уопсель объяснил узы

родства, связывающие меня с Джо, и тотчас же перешел к торжественному монологу из Ричарда III, оправдав в глазах своих этот переход словами: «как говорит поэт». При этом я могу заметить, что когда мистер Уопсель отнесся ко мне, он почел нужным провести рукою по моим волосам и сбить их мне на глаза. Я не могу постигнуть, почему все люди, посещавшие наш дом, всегда, в подобных обстоятельствах, подвергали меня этой возмутительной ласке. Я не припомню, чтоб когда-либо, в самую раннюю мою молодость, я был предметом внимания нашего семейного кружка; лишь изредка какая-нибудь особа, с огромными руками, делала подобную наружную попытку оказать мне свое покровительство.

Все это время незнакомец смотрел так, как будто он решился наконец выстрелить в меня. Но он не сказал ничего после сделанного им резкого восклицания, пока не принесли пунш; тогда он выстрелил очень странно. Это было не словесное замечание, а продолжительная пантомима, которая ясно относилась ко мне. Он мешал свой пунш, глядя на меня пристально, и отведал его, не сводя с меня глаз. И он мешал и отведывал его не поданной ему ложкой, а напилком; но он делал это так, что никто не видел напилка, кроме меня; потом обтер и спрятал его в боковой карман. Как только я увидел этот инструмент, я тотчас признал его за напилок

Джо и догадался, что незнакомец верно знает моего каторжника. Я сидел, глядя на него, как околдованный. Но он уже развалился на своем месте, мало обращая на меня внимания и говоря преимущественно о посевах репы.

В нашей деревне было прекрасное обыкновение по субботним вечерам чиститься и отдыхать перед началом новой недели. На этом основании Джо осмеливался в субботу приходить домой полчаса позже обыкновенного. Когда прошли эти полчаса и пунш был выпит, Джо, взяв меня за руку, собрался идти.

— Погодите минутку, мистер Гарджери, — сказал незнакомец: — кажется, у меня, где-то в кармане, застрял новенький шиллинг: если я найду его, то отдам этому мальчику.

Он отыскал шиллинг в горсти мелкой монеты, завернул его в какую-то измятую бумажку и подал мне, сказав:

— Это тебе — слышишь? тебе собственно.

Я поблагодарил, глядя на него с большим удивлением, нежели позволяло приличие, и плотно прижался к Джо. Незнакомец простился с Джо, мистером Уопселем (который вышел вместе с нами) и бросил на меня только один взгляд своим прищуренным глазом или, лучше сказать, не взгляд, потому что он совершенно закрыл глаз; но глаз может сделать чудеса, даже и закрытый.

На возвратном пути, если б я был расположен говорить, то речь была бы исключительно за мной, ибо мистер Уопсель расстался с нами у дверей «Лихих бурлаков», а Джо шел всю дорогу с открытым ртом, чтоб свежим воздухом прогнать запах рома. Но я был совершенно поражен возвращением на сцену моего старого грешка и старого знакомства и не мог думать ни о чем другом.

Сестра была не в слишком дурном расположении духа, когда явились в кухню, и это неожиданное обстоятельство внушило Джо смелость упомянуть ей о шиллинге.

— Фальшивый — я уверена, — сказала мистрис Джо с важным видом: — не то, он не дал бы его мальчику.

Я развернул бумажку, достал деньгу и показал, что это был настоящий шиллинг, а не фальшивый.

— Это что? — воскликнула мистрис Джо, кидая на пол шиллинг и хватаясь за бумажку. — Два билета, в фунт каждый?

И действительно, это были две фунтовые бумажки, засаленные и грязные, вероятно, перебивавшие во многих руках, на рынках и ярмарках. Джо схватил шляпу и пустился бегом к «Лихим Бурлакам», в намерении возвратить деньги их владельцу. Пока он бегал, я сел на свой обычный

стул и смотрел бессознательно на сестру. Я почти был уверен, что Джо не найдет незнакомца. Джо воротился с известием, что незнакомца уже не было в харчевне, но что он (Джо) объявил там о находке денег. Тогда сестра завернула деньги в бумажку, запечатала и положила в парадной гостиной в какой-то узорчатый чайник, род пресс-папье, наполненный высушенными розовыми листьями. Там они оставались долго, не давая мне покоя ни днем, ни ночью. Когда я ложился спать, мне было не до сна: я думал о странном незнакомце, целившем в меня из своего невидимого ружья, размышлял о том, как низко и преступно было находиться в тайных сношениях с каторжниками. Меня не менее того преследовала и мысль о напилке: я начинал бояться, что этот несчастный напилек будет появляться еще не раз, в самые непредвиденные минуты. Наконец, я уснул, приятно думая о мисс Гавишам и о том, как я к ней пойду в четверг. Но и во сне я видел напилек, направленный на меня какой-то неведомой рукой и просыпался с криком ужаса.

XI

В назначенный час я возвратился к мисс Гавишам и дрожащей рукою позвонил у ворот. Эстелла впустила, меня и, по-прежнему, заперев

калитку, повела меня в темный коридор, где стояла ее свечка. Сначала она не обратила на меня никакого внимания, но, взяв свечку, посмотрела через плечо и гордо сказала:

— Сегодня тебе надо идти в эту сторону.

И мы направились в неизвестную мне часть дома. Коридор был длинный и, казалось, шел вокруг всего нижнего этажа четырехугольного дома. Мы прошли только одну сторону четырехугольника; в углу Эстелла остановилась, поставила на пол свечку и отворила дверь. Нас обдало дневным светом; я очутился посреди маленького мощеного двора, на противоположной стороне которого возвышался жилой домик, по-видимому, бывший некогда жилищем управляющего или приказчика опустевшей пивоварни. На стене этого дома красовались большие часы. Подобно стенным и карманным часам мисс Гавишам, и эти часы стояли на девяти без двадцати минут.

Мы вошли чрез растворенную дверь в низенькую комнату нижнего этажа. В ней было несколько человек и Эстелла присоединилась к обществу, сказав мне:

— Ступай, мальчик, стань там у окошка и подожди, пока тебя не позовут.

Я послушался и стоял в самом беспокойном состоянии духа, смотря на двор. Окно было почти в

уровень с землею и выходило на самый грязный и забытый уголок сада. Тут виднелись гряды с сгнившими остатками капусты и посреди их буквое дерево, обстриженное наподобие пудинга; на макушке выдавались новые отпрыски бурого цвета и неправильной формы, так что верхушка пудинга казалась пригорелой. Вот что я думал, смотря на буквое дерево. Ночью выпал небольшой снег, но от него нигде не осталось следов, кроме в этом холодном уголку. Ветер подымал с земли снежинки и хлестал ими в окно, как бы сердясь на появление мое в этом доме.

Я догадался тотчас, что мой приход прервал общий разговор в комнате и обратил на меня взоры всех присутствовавших. Я не видел ничего, что делалось в комнате, кроме отблеска огня на оконных стеклах. Я онемел от одной мысли, что меня пристально рассматривают. В комнате находились три женщины и один мужчина. Я не простоял еще у окна и пяти минут, а уж убедился — не знаю почему, что они все плуты и пройдохи. Но каждый из них принимал вид, что не знал этих качеств за остальными, ибо одно предположение, что он или она это знали, уже делало его или ее, таким же плутом и пройдохой. Все они, казалось, ждали кого-то с видимою скукою; самая говорливая барыня с трудом удерживалась от зевоты. Эта барыня, по имени Камилла, очень напоминала мне

сестру, с тою только разницею, что была старее и с менее резкими чертами лица. Действительно, ближе с нею познакомившись, я часто думал, что иметь какие-нибудь черты уже было счастьем для нее — так плоско и ровно было ее лицо.

— Бедный! — проговорила эта барыня отрывисто, точь-в-точь, как моя сестра: — никому не враг, исключая самого себя!

— Гораздо похвальнее быть врагом кого-нибудь другого, — сказал мужчина: — Это гораздо натуральнее.

— Брат Джон, — заметила другая барыня: — мы должны любить наших ближних.

— Сара Покет, — отвечал брат Джон: — если человек не ближний себе, то кто же после того ему ближний?

Мисс Покет и Камилла засмеялись, и последняя, перемогаясь, чтоб не зевнуть, сказала:

— Вот идея!

Мне показалось, они все находили это очень хорошею идеею. Третья барыня, которая еще ничего не говорила, теперь торжественно и серьезно прибавила:

— Очень справедливо!

— Бедный! — продолжала Камилла (я очень ясно сознавал, что они все это время пристально на меня смотрели): — он такой странный! Поверите ли, когда у Тома умерла жена, то он никак не мог

взять в толк, что детям необходимо носить траур с плерёзами? «Боже милостивый! — говорил он, — что может значить обшивка, Камилла, когда они все в черном? Это так походит на Мафью!» Вот идея!

— Есть в нем хорошие стороны, есть, — сказал брат Джон: — и Боже упаси! чтоб я отрицал это; но он никогда не имел и никогда не будет иметь понятий о приличиях и пристойности.

— Вы знаете, — начала опять Камилла: — я обязана была настоять на своем. Я ему сказала: «это не годится, надо поддержать честь семейства»; я ему сказала, что «не надень дети глубокий траур — семейство навеки обесчещено». Я проплакала целый день, от завтрака до обеда, чем совершенно повредила пищеварению. Наконец, он вспылил, по своему обыкновению, и с ругательством воскликнул: «Ну, делай, как хочешь!». Слава Богу, мне всегда будет утешительно вспоминать, что, несмотря на проливной дождь, я тотчас же отправилась и купила все нужное.

— А заплатил он — не правда ли? — спросила Эстелла.

— Не в том дело, милочка, кто заплатил, — отвечала Камилла: — я купила. И часто буду я с удовольствием вспоминать об этом, просыпаясь ночью.

Тут послышался звонок и чей-то голос из коридора, по которому мы пришли. Разговор тотчас

прекратился, и Эстелла сказала мне: «Ну, мальчик, пойдём». Обернувшись, я заметил, что все смотрели с презрением на меня. Я слышал, как Сарра Покет, воскликнула: «Я уверена! Еще что!» а Камилла прибавила: «Можно ли себе вообразить что-либо подобное! Вот *и-д-е-я!*»

Мы пошли со свечей по темному коридору. Вдруг Эстелла остановилась и неожиданно обернулась назад, так что лицо ее почти коснулось моего.

— Ну... — сказала она, насмешливо.

— Что, мисс? — отвечал я, спотыкнувшись и чуть не падая на нее.

Она стояла и смотрела на меня; конечно, и я стоял и смотрел на нее.

— А что, я хорошенькая?

— Да, мисс; мне кажется вы очень хорошенькие.

— А обхожусь грубо?

— Не так, как прошлый раз, — отвечал я.

— Не так, как в прошлый раз?

— Нет.

Она вспыхнула при последнем вопросе, и когда я ответил, ударила меня по щеке со всей силой.

— Ну, — сказала она: — а теперь, что ты обо мне думаешь, необтесанный уродец?

— Я вам не скажу.

— А скажешь там, наверху — да?

— Нет, — ставал я.

— Зачем ты не плачешь, тварь?

— Я никогда из-за вас более плакать не стану, — отвечал я. Но лживее этого обещания, я думаю, никто никогда не делал, ибо я в ту минуту плакал из-за нее внутренне, и один я знаю, сколько страданий она мне стоила впоследствии.

После этого незначительного эпизода, мы пошли вверх по лестнице, и вскоре встретили какого-то барина, сходявшего вниз.

— Кто это, — сказал он, останавливаясь и смотря на меня.

— Мальчик, — отвечала Эстелла.

Человек, нам повстречавшийся, был дороден, смугл, с неимоверно огромной головой и такими же руками. Он взял меня за подбородок и приподнял мою голову так, чтоб рассмотреть хорошенько мое лицо при свете свечи.

На голове у него была лысина, а густые черные брови стояли торчмя. Впалые глаза его неприятно поражали своею пронзительностью и подозрительностью. На лице, вместо бороды и бакенбардов, виднелись черные пятна. На животе красовалась большая золотая цепочка. Он мне был совершенно незнаком, и я не мог предвидеть, что когда-нибудь я буду с ним в каких-либо отношениях. Но, несмотря на это, я имел случай

хорошо его рассмотреть.

— Мальчик из окрестностей — а? — спросил он.

— Да-с, сэр, — отвечал я.

— Как ты очутился здесь?

— Мисс Гавишам прислала за мной, — объяснил я.

— Так! Веди себя хорошо! Я довольно-таки знаю детей: вы дрянь-народ. Смотри, — прибавил он, кусая пальцы и сердито глядя на меня: — смотри, веди себя хорошенько!

С этими словами он выпустил меня. Я был очень рад, ибо руки его пахли душистым мылом. Он пошел своей дорогой вниз, а я размышлял: «кто бы это был: доктор — нет, он тогда был бы степеннее и тише». Однако, времени у меня на эти размышления было немного, ибо мы вскоре вошли в комнату мисс Гавишам. Она и все остальное в комнате не переменило своего положения с тех пор, как я ушел. Эстелла оставила меня у дверей, и я там молча стоял до тех пор, пока мисс Гавишам, сидя у своего уборного столика, не взглянула на меня.

— Так, — сказала она, не выражая никакого удивления увидев меня: — дни идут — а?

— Да-с, сударыня, сегодня...

— Ну, ну, — воскликнула она, с нетерпением двигая пальцами: — я и знать не хочу. Можешь ты представлять?

Я должен был с смущением ответить:

— Я думаю, сударыня, нет.

— Не в карты же опять? — спросила она.

— Да, сударыня если нужно, я могу в карты играть.

— Так как этот дом, поражает тебя своею ветхостью и мрачностью, — с нетерпением сказала мисс Гавишам: — и ты не хочешь представлять, то не хочешь ли работать?

Ни этот вопрос я мог отвечать с большею уверенностью и сказал, — что с удовольствием, готов работать.

— Так, ступай вон в ту комнату, — сказала она, указывая своею исхудалою рукою на другую комнату: — и подожди там, пока я приду.

Я прошел через площадку лестницы в указанную мне комнату. И эта комната так же была совершенно лишена дневного света, и воздух в ней был невыносимо душен. В старинном почерневшем камине разложен был огонь, который каждую минуту готов был потухнуть, а дым, наполняя комнату, казался холоднее самого воздуха, подобно мартовским туманам. Несколько канделябров, на высоком камине, тускло освещали комнату или, лучше сказать, едва нарушали ее темноту. Комната была большая и в свое время, вероятно, красивая; но теперь на всем лежал густой слой пыли и плесени, все рассыпалось в прах. Самым

замечательным предметом во всей комнате был большой накрытый скатертью стол, точно приготавливался банкет в ту минуту, когда и дом и часы везде заглохли навеки. Посреди стола стояло что-то большое, но предмет этот до того был покрыт паутиной, что невозможно было различить его формы. Когда я смотрел на эту пожелтевшую скатерть и этот неизвестный предмет, как гриб, выраставший из нее, я заметил вбегавших и выбегавших из него, как из дома, длинноногих пауков; они так суетились, как будто случилось какое-нибудь важное происшествие в мире пауков. Я слышал также мышей, шумевших за карнизом, как будто то же обстоятельство имело важность и для них. Одни только черные тараканы не обращали внимания на общее волнение и чинно, по-стариковски, прохаживались по печке; точно они были близоруки, туги на ухо и незнакомы друг с другом. Эти животные возбудили мое любопытство, и я наблюдал за ними издали, когда мисс Гавишам тронула меня за плечо. Другой рукой она упиралась на палку с загнутой ручкою. Она казалась ведьмой этого страшного места.

— Вот тут, — сказала она, указывая палкою на стол: — вот тут меня положат, когда я умру. Сюда придут, чтоб посмотреть на меня...

Я вздрогнул от ее прикосновения. Мне мерещилось, что она могла сразу взобраться на стол

и тотчас же умереть.

— Как ты думаешь, что это за штука? — сказала она, опять указывая палкою: — вон та, покрытая паутиною.

— Не сумею сказать, сударыня.

— Это большой пирог. Свадебный пирог, мой!

Она обвела комнату сердитым взглядом; облокотившись за меня и дергая рукою за мое плечо, она прибавила:

— Ну, ну! води меня, води меня.

Я понял тотчас, что работа, мне предстоящая, была водить мисс Гавишам вокруг комнаты. Действительно, мы пустились с нею в поход, и сначала шли таким скорым шагом, что он напоминал езду мистера Пёмбельчука в его собственной одноколке.

Однако, мисс Гавишам была не сильна и потому скоро сказала: «Потише». Все же мы шли довольно скорым, нетерпеливым шагом. Она продолжала дергать меня за плечо и шевелила ртом, будто желая уверить меня, что мы потому шли так скоро, что ее мысли бежали быстро. Через несколько времени она сказала:

— Позови Эстеллу.

Я пошел на площадку лестницы и по-прежнему закричал во все горло:

— Эстелла! — Когда показался свет ее свечи,

я возвратился к мисс Гавишам, и мы снова заходили взад и вперед по комнате.

Если б Эстелла одна была свидетельницею наших прогулов и тогда мне было бы довольно неловко, а она еще привела с собою трех барынь и мужчину, которых я видел внизу. При этом неожиданном обстоятельстве я так смутился, что не знал куда деваться. Из приличия я хотел было остановиться, но мисс Гавишам дернула меня за плечо, и мы опять отправились в путь. Я чувствовал, что верно они подумают, что все это мои затеи.

— Милая мисс Гавишам, — сказала мисс Сара Покет: — как вы сегодня хороши на взгляд!

— Хороша, — отвечала мисс Гавишам: — кожа да кости.

Лицо Камиллы просияло, когда она услышала этот грубый ответ. Она с сожалением посмотрела на мисс Гавишам и пробормотала:

— Бедная! Конечно, нельзя ожидать, чтоб она была хороша на взгляд — вот идея!

— Как ваше здоровье? — сказала мисс Гавишам, обращаясь к Камилле.

Мы поравнялись с Камиллой, и я было хотел остановиться, но мисс Гавишам заставила меня продолжать нашу прогулку, к явному неудовольствию Камиллы.

— Благодарствуйте, мисс Гавишам, —

отвечала она. — Я здорова, то есть на столько, насколько можно ожидать в моем положении.

— Что с вами? — отрывисто спросила мисс Гавишам.

— Ничего заслуживающего вашего внимания, — отвечала Камилла. — Я не хочу хвастаться своими чувствами, но я это последнее время слишком много думала о вас по ночам, чтоб быть здоровою.

— Так не думайте обо мне, — возразила мисс Гавишам.

— Легко сказать! — продолжала Камилла, любезно удерживаясь, чтоб не заплакать; глаза ее были полны слез. — Вот Раймонд свидетель, сколько я принуждена каждую ночь принимать имбирю и нюхать спиртов. Раймонд свидетель, какие судороги у меня делаются в ногах. Но обмороки и судороги мне не новость, когда я беспокоюсь о тех, кого люблю. Если б я могла быть не так чувствительна и не столько бы любила ближних, то, право, нервы мои были бы словно железные и желудок варил бы преисправно. Право, я бы желала этого: Но, чтоб не думать о вас по ночам — вот идея!

Слезы заглушили ее слова.

Я тотчас понял, что Раймонд должен быть мужчина, пришедший с этими барынями, и догадался, что верно он муж Камиллы. Он

поспешил к ней на помощь и ласковым, нежным голосом сказал:

— Милая Камилла, все очень хорошо знают, что нежные чувства питаемые нами к вашему семейству, совершенно разрушают ваше здоровье.

— Я не знала, — заметила серьёзно дама, которая еще только во второй раз говорила: — что, думая о ком-нибудь, мы делаем одолжение тому лицу.

Мисс Сара Покет подтвердила последние слова:

— Да, конечно, милая. Гм!

Она, как я успел рассмотреть, была сухая, смуглая, сморщившаяся старуха; ее маленькое лицо напоминало грецкий орех, а рот походил на кошачий, конечно, без усов.

— Думать-то легко, — заметила серьёзная дама.

— Что может быть легче? — прибавила Сара Покет.

— Да, да! — воскликнула Камилла, начиная выходить из себя: — все это правда! Конечно, слабость с моей стороны любить так нежно, но я не могу переупрямить себя. Без сомнения, мое здоровье выиграло бы; но все-таки я не согласилась бы переменить свой характер; он — причина многих страданий, но вместе с тем эта чувствительность — единственное мое утешение,

когда я просыпаюсь по ночам.

Тут она опять залилась слезами.

Во все время этого разговора мы с мисс Гавишам, не останавливаясь ни на минуту, продолжали ходить вокруг комнаты, то зацепляя за платья присутствовавших, то отходя от них на противоположный конец комнаты.

— Вот, Мафью, — начала Камилла; — никогда не разделяет моих чувств к родным, никогда не придет проведать мисс Гавишам! По целым часам лежала я без чувств, с опрокинутой головой, с распущенными волосами, а ноги мои были... сама не знаю где.

— Гораздо выше головы, милая, — сказал муж Камиллы.

— Я приходила часто в подобное положение от одной мысли о непонятном и странном поведении Мафью, и за все это мне никто и спасибо не сказал.

— Будто? Я бы этого не думала, — заметила серьезная дама.

— Вот, видите ли, душенька, — прибавила мисс Сара Покет, всегда прикрывавшая свою злобу ласковым выражением: — вы прежде всего должны себе задать вопрос: от кого вы именно ожидали благодарности?

— Не ожидая никаких благодарностей, или чего подобного, — продолжала Камилла: — я по

целым часам оставалась в таком положении... Раймонд свидетель, как я задыхалась и как уже имбирь не помогал. Мои вздохи и стоны слышны были напротив, у настройщика; дети его принимали это за воркованье голубей; а теперь говорят...

Камилла закрыла руками рот; в горле у ней начались какие-то небывалые физиологические отправления.

Когда упомянули в первый раз имя Мафью, мисс Гавишам остановилась; мы с нею стояли и смотрели на говорившую Камиллу. Эта остановка в нашей прогулке подействовала сильно на Камиллу и физиологическая работа в ее горле внезапно прекратилась.

— Мафью таки навестит меня наконец, — грозно сказала мисс Гавишам: — когда я буду лежать на столе. Вот здесь будет его место, — продолжала она, ударяя по столу своею палкою: — у меня в изголовья. А ваше место здесь; а мужа вашего здесь, Сары Покет здесь, а Джоржианы здесь! Ну, теперь каждый из вас будет знать, свое место, когда, как стая воронов, вы соберетесь пировать над моим трупом, а покуда убирайтесь!

Произнеся имя каждого лица, мисс Гавишам палкою указывала место на столе. Кончив свою речь, она обернулась ко мне с словами:

— Води, води меня.

И мы опять заходили по комнате.

— Я думаю, теперь нам остается только послушаться и разойтись, — воскликнула Камилла. — Довольно хоть на минуту повидать того, кого любишь и уважаешь. Я буду вспоминать с удовольствием об этом свидании, просыпаясь ночью. Как бы я желала, чтоб Мафью мог иметь это утешение; но он им пренебрегает. Я не намерена хвастаться своими чувствами, но, признаться, тяжело слышать, когда тебе говорят, что хочешь пировать над трупом родственника, точно как будто мы в самом деле вороны. Горько слышать: «убирайтесь вон!» — Вот идея!

Мистрис Камилла схватилась руками за грудь, но муж ее вмешался в дело, и бедная женщина приняла на себя вид неестественной твердости, как бы желая выказать намерение — за порогом комнаты упасть в обморок. Сделав ручкой мисс Гавишам, она удалилась. Сара Покет и Джорджиана несколько секунд боролись, кому выйти последней; но Сара была слишком опытна на эти штуки, чтоб дать промах; она так ловко извернулась около Джорджианы, что та принуждена была идти вперед. Сара Покет настояла на своем, и удалилась с эффектом, говоря:

— Христос с вами, милая мисс Гавишам.

При этих словах, на лице ее промелькнула улыбка снисходительного сожаления к слабостям только что вышедших людей.

Пока Эстелла светила им по лестнице, мисс Гавишам продолжала ходить, упираясь на мое плечо, но шаг ее становился все тише и тише. Наконец, она остановилась перед огнем и, посмотрев на него молча несколько минут, сказала:

— Сегодня мое рождение, Пип.

Я собирался ее поздравить, но она, замахав своей палкой, продолжала:

— Я не позволяю об этом говорить. Я не позволяю не только что вышедшим отсюда, ни другому кому, упоминать при мне об этом. Они собираются сюда в этот день, но не смеют говорить о том. В этот день гораздо прежде, чем ты родился, принесена была сюда эта куча плесени, гнили, — и она издали указала палкой на кучу паутины... — Мы вместе сгнили; мыши подточили эту кучу, но меня подточили зубы гораздо вострее мышиных.

Она приложила ручку палки к своему сердцу и продолжала смотреть на стол. Вид ее самой и всей комнаты был самый плачевный, ее платье, когда-то белое, теперь совершенно пожелтело и сгнило, и некогда белая скатерть также сгнила и пожелтела. Все в комнате, казалось, готово была от малейшего прикосновения рассыпаться в прах.

— Когда разрушение будет полное, — продолжала она, страшно озираясь вокруг: — меня положат мертвую в подвенечном платье на свадебный стол, и это будет последним проклятием

для него. Тем лучше, если это случится в тот самый день.

Мисс Гавишам стояла и смотрела на стол, как будто уже видя на нем свой собственный труп. Я молчал. Эстелла, возвратясь, также стояла тихо и молчаливо. Мне показалось, что эта тишина и общее молчанье продолжались довольно долго. В этом мраке, господствовавшем во всех углах комнаты, и в этом удушливом воздухе мне грезилось, что вот я и Эстелла также начнем рассыпаться в прах. Наконец, не мало-помалу, а внезапно придя в себя, мисс Гавишам сказала:

— Посмотрим, как вы будете вдвоем играть в карты. Отчего вы до сих пор не начинали?

Мы возвратились в ее комнату и уселись на прежние места. Я проигрывал, и опять мисс Гавишам пристально следила за нашей игрой и обращала мое внимание на красоту Эстеллы; чтоб выказать ее еще более, она украшала ее шею и голову своими брильянтами и драгоценными камнями. Эстелла, с своей стороны, обходилась со мною по-прежнему, с тою только разницею, что она не удостаивала меня чести говорить со мной. Когда мы сыграли с полдюжины игор, и назначен был день для следующего моего посещения, меня повели на двор, где и накормили по-прежнему, как собаку, и оставили одного шляться по двору сколько душе угодно. Была ли в прошлое мое

посещение отперта калитка в садовой стене, которую я перелезал, или нет — я ее тогда не видал и заметил только теперь. Так как она была открыта и я знал, что Эстелла выпроводила гостей в наружную калитку, ибо она возвратилась с ключами в руках, то я вошел, в сад и исходил его вдоль и поперек. Сад этот был, просто, пустырь; старые парники, где некогда росли дыни и огурцы, теперь, казалось, — только производили нечто похожее на остатки изношенных башмаков и сапог; изредка попадались и черепки тарелки или чашки.

Когда я исходил весь сад и успел заглянуть в оранжерею, где ничего не оказалось, кроме валявшейся на полу засохшей виноградной лозы и нескольких бутылок, я очутился в том забытом уголку, на который я недавно еще любовался из окна. Не подумав, был ли кто в доме или нет, я подошел и заглянул в окно. К крайнему моему удивлению, из комнаты на меня смотрел с таким же удивлением какой-то бледный молодой человек, с раскрасневшимися глазами.

Этот бледный юноша тотчас исчез и чрез минуту уже стоял подле меня. Когда я на него смотрел в окно, я видел, что он сидел за книгами, а теперь я заметил, что он весь был в чернильных пятнах.

— Эй, мальчишка! — воскликнул он.

Я уже давно заметил, что восклицание «эй»

такое выражение, на которое лучше всего отвечать тем же; потому я так же воскликнул «эй!» опустив из вежливости слово «мальчишка».

— Кто тебя пустил сюда? — спросил он.

— Мисс Эстелла.

— Кто тебе позволил тут шляться?

— Мисс Эстелла.

— Выходи драться! — произнес бледный молодой человек.

Что ж мне оставалось делать? идти и драться. С тех пор я часто задавал себе этот вопрос. Он говорил так решительно, и я был изумлен до такой степени, что слепо следовал за ним, как будто очарованный:

— Постой, однако, — воскликнул он опять, неожиданно останавливаясь и оборачиваясь ко мне: — надо же тебе дать повод в драке. На, вот!

С этими словами, он самым обидным образом хлопнул в ладони, откинул назад левую ногу, схватил меня за волосы, хлопнул еще раз в ладони и нырнул головою мне прямо в живот.

Этот зверский поступок, достойный быка, конечно, был обидной вольностью, но на полный желудок он еще был неприятнее. Потому я порядочно хватил его и готов был еще раз хватить, когда он воскликнул:

— Ага! так ты хочешь драться?

Сказав это, он начал прыгать и вывертываться

от меня. Я никогда не видал ничего подобного.

— Законы игры! — кричал он и перепрыгнул при этом с левой ноги на правую. — Основные правила! — Тут он прыгнул с правой ноги на левую. — Ну, пойдём на место и приготовимся, как следует...

Он продолжал прыгать, скакать и выделывать самые замысловатые штуки, пока я бессмысленно, смотрел на него.

В тайне я начинал бояться бледного юноши, видя его ловкость; но я был убежден морально и физически, что белокурая голова его не имела никакой надобности пырять мне в живот и что, потому, я имел полное право считать этот поступок неприличным и оскорбительным. Я следовал за ним молча, и мы наконец пришли в отдаленный угол сила. То была маленькая площадка, окруженная двумя сходящимися стенами и защищенная с открытой стороны кустарниками. На его вопрос, доволен ли я местом, я немедленно ответил «да». Тогда, попросив извинения, он отлучился на минуту и вскоре явился с бутылкою воды и губкой, обмоченной в уксус. Ставя эти вещи к стене, он пробормотал:

— Пригодится обоим.

После того молодой джентльмен начал поспешно раздеваться и снял с себя не только сюртук и жилетку, но даже и рубашку. Он принял

на себя деловой вид, и лицо его выражало беззаботность и жажду крови.

Хотя он и не был с виду очень крепок и здоров, лицо его было в прыщах, а рот обметало, но все же эти страшные три появления невольно смутили меня. По наружности он, казалось, был моих лет, но гораздо выше меня; кроме того, он был ловок и увертлив. Молодой джентльмен был одет в серое платье, когда он не готовился к бою; у него были непомерно развиты локти, коленки, щиколки и кисти рук.

Душа моя ушла в пятки, когда я увидел, как он намеривал меня глазом, с видом знатока в анатомии, как бы избирая побольнее место в моем теле. Я никогда в жизни не был так удивлен, как увидев его после первого удара лежащим навзничь, с разбитым в кровь носом и сплюснутой физиономией.

Но он тотчас же вскочил на ноги и, примочив себе лицо губкою, стал снова измерять меня глазом. Но каково было мое удивление, когда я увидел его во второй раз на земле, с подбитым глазом.

Я начинал, однако, глубоко уважать его за постоянство и твердость духа. Он, казалось, не имел никакой силы и ни разу меня не ушиб, между тем как каждый мой удар повергал его на землю. Но, несмотря на это, чрез минуту он опять вскакивал на ноги, примачивал губкою лицо, пил

воды из бутылки и снова нападал на меня, будто готовясь покончить меня. Он получил несколько тяжких ударов; ибо как ни совестно сознаться, а чем далее шло дело, тем больше я его бил. Но все же он не унывал и с каждым разом нападал на меня с новою энергиею; наконец, пошатнувшись от моего удара, он ударился изо всей силы головою об стену. Даже после этого кризиса в нашей борьбе, он вскочил, бессознательно сделал несколько поворотов, не находя места, где я стоял, наконец, упал на колени и принялся за свою губку, бормоча:

— Ну, значит, ты победил.

Он казался таким храбрым и невинным, что я с грустью смотрел на свою победу, хотя и не сам затеял драку. Скажу более: я утешаю себя мыслью, что, одеваясь, я считал себя чем-то в роде волка или другого хищного зверя. Одевшись и обтерев платком свое кровожадное лицо, я обратился к бледному джентльмену, с словами:

— Могу ли я вам помочь!

— Нет, благодарствуйте, — отвечал он.

Тогда я пожелал ему доброго вечера, и он отвечал тем же.

Выйдя на двор, я застал там Эстеллу, ожидавшую меня с ключами. Она, однако, не спрашивала меня, где я был или зачем задержал ее так долго. Лицо ее сияло удовольствием, точно случилось что-нибудь очень приятное. Вместо того,

чтоб пойти прямо к калитке, она позвала меня в коридор.

— Поди сюда, — сказала она: — ты можешь меня поцеловать, если хочешь.

Она подставила мне свою щеку, и я поцеловал ее. Я бы дорого дал, чтоб поцеловать ее; но я чувствовал, что этот поцелуй был дан грубому мальчишке как медный грош, и потому не имел никакой цены.

Со всеми этими происшествиями, праздничными визитами, карточной игрою и, наконец, дракою, я так долго пробыл у мисс Гавишам, что когда я воротился домой, на песчаном пригорке, у края болота, уж мерцал сторожевой огонь, а из кузницы Джо выходила огненная полоса света, ложась поперек дороги.

XII

Происшествие с бледным мальчиком очень меня беспокоило. Чем более я думал о драке и припоминал его с распухшею и окровавленную физиономиею, тем несомненнее казалось мне, что это не пройдет даром. Я чувствовал, что кровь его вопиет против меня, и что закон покарает меня. Уложение о наказаниях мне не было знакомо, но я, по собственному убеждению, сознавал, что нельзя же допустить, чтоб деревенский мальчишка ходил

по барским домам разбойничать и колотить прилежную молодёжь, не подвергаясь за то строгому взысканию. Несколько дней я сидел дома, а если и выходил по чьим-либо поручениям, то предварительно тщательно озирался кругом, боясь, чтоб на меня не бросились вдруг тюремные сыщики. Окровавленный нос бледного мальчика замарал мои штаны, и теперь в тишине ночной я старался смыть это пятно, чтоб изгладить следы преступления. Я порезал кулаки о зубы своего соперника, и теперь в воображении своем изыскивал тысячи способов, чтоб оправдаться в этом проклятом обстоятельстве, стоя перед судьями.

Ужас мой достиг крайних пределов в тот день, когда мне следовало возвращаться на место преступления. Не поджидают ли меня за калиткою у мисс Гавишам орудия правосудия, нарочно подосланные из Лондона, чтоб схватить меня? Или не хочет ли мисс Гавишам лично отомстить за обиду, учиненную в ее доме; встанет с своего места, в своем страшном платье, как верная картина смерти, хладнокровно наведет на меня пистолет и безжалостно застрелит? Или не собрана ли в пустой пивоварне целая шайка мальчишек, подкупленных злодеев, которым велено напасть на меня, и покончить меня пинками? К чести молодого джентльмена следует сказать, что я, в воображении

своим, ни разу не считал его соучастником во всех этих кровавых воздаяниях; все эти страсти я приписывал исключительно бессмысленным его родственникам, которые, видя изуродованную физиономию моего соперника после побоища и не вникая глубже в дело, решились погубить меня.

Однако, я не мог не идти к мисс Гавишам, потому, делать нечего, пошел. Представьте себе, драка осталась без всяких последствий, даже не было о ней и помину, а молодого человека и следов не осталось; я нашел ту же калитку отпертою, обошел сад и даже осмелился взглянуть в окно домика; но взгляд мой был перехвачен ставнями, закрытыми изнутри; все казалось пусто и безжизненно. Только в углу, где происходило сражение, виднелись следы его, в виде кровавых пятен на земле. Я поспешил засыпать их песком, чтоб, при следствии, они не могли служить уликою против меня.

На широкой площадке, отделявшей собственную комнату мисс Гавишам от той, где находился длинный, накрытый стол, стояло легкое, садовое кресло на колесах. И с того дня постоянным занятием моим было катать в нем мисс Гавишам (когда она устанет ходить, опершись на мое плечо) вокруг ее собственной комнаты, по площадке, и вокруг другой комнаты. Опять и опять начинали мы свое однообразное путешествие,

наслаждаясь такою прогулкою иногда по три часа сряду. Сосчитать этих прогулок я не берусь: они повторялись очень часто, ибо было решено, что ради этого удовольствия я должен возвращаться через день; и катал я таким образом мисс Гавишам месяцев восемь или десять.

Несколько привыкнув ко мне, мисс Гавишам стала со мною разговаривать, расспрашивать, чему я учился, что намерен делать? Я отвечал, что, по всей вероятности, буду отдан в ученье к Джо, и стал распространяться о своем невежестве и желании всему научиться, в надежде, что она предложит помогать мне в этом деле; но она ничего подобного не делала, а напротив, казалось, желала, чтоб я оставался в своем невежестве. Ни разу не давала она мне денег, не намекала даже на то, что я буду вознагражден за свои труды — словом, кроме обедов, брошенных как собаке, я от нее ничего не получал.

Эстелла постоянно вертелась около нас; она всегда впускала и выпускала меня, но более не позволяла целовать себя. Иногда она холодно терпела меня, иногда снисходительно, иногда даже фамильярно обращалась со мною, а иногда вдруг скажет, что ненавидит меня. Мисс Гавишам нередко спрашивала у меня наедине, или шепотом при ней: «Хорошеет ли она, Пип?» И когда я скажу «да» (она действительно становилась красивее день

ото дня), она видимо наслаждалась моим ответом. Также, когда мы играли в карты, мисс Гавишам с каким-то внутренним удовольствием следила за капризами Эстеллы, каковы бы они ни были; иногда капризы эти повторялись так часто и непоследовательно, что я положительно терялся и не знал, что делать, а мисс Гавишам обнимала и целовала Эстеллу с удвоенною нежностью и шептала ей что-то на ухо, в роде: «Не жалея, мое сокровище, не жалея их; они не стоят жалости».

У Джо была старая песня, о дяде Климе, которую он певал за работой. Это, признаюсь, не было особенно вежливое поклонение патрону, ибо я полагаю, что дядя Клим не что иное, как почетный покровитель кузнецов. Песня эта подражала мерным ударам молотка по наковальне и, кажется, была только предлогом для вывода на сцену почтенного дяди Клина. Вот образчик этой песни:

«Бей сильнее, бей
дружней — дядя Клим!
Молотка не жалея —
дядя Клим!
Дуй огонь, раздувай
— дядя Клим!
Потухать не давай —
дядя Клим!
Чтоб пылал да

блистал — дядя Клим!
Сам про нас чтобы
знал — дядя Клим!»

Вскоре после моего первого знакомства с подвижным креслом, мисс Гавишам вдруг сказала мне, нетерпеливо ворочая пальцами:

— Так, так, так! пой, пой!

Я, как видно, забылся до того, что стал сквозь зубы попевать знакомые слова, забыв о ее присутствии. Песня ей так поправилась, что она сама стала потихоньку подтягивать, будто сквозь сон. Впоследствии у нас совершенно вошло в привычку петь эту песню во время наших прогулок, и Эстелла нередко присоединялась к нам с своим голоском; но даже втроем пение было так тихо, что делало не более шуму в доме, чем самый легкий ветерок.

Что могло из меня выйти при подобной обстановке? Как ей было не подействовать на мой характер? Что удивительного, что в глазах и в голове у меня мутилось, когда я выходил на свет божий из тех сырых, пожелтевших комнат?

Может статья, я и признался бы Джо в своих похождениях у мисс Гавишам, если б я сам себе не преувеличивал, как сказано, последствий драки с молодым джентльменом, и не насказал уже столько нелепостей о мисс Гавишам. Бледный юноша,